



КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ:

ДЕДЛАЙН

ТАИСИЯ ЛОГОВСКАЯ

Таисия Логовская

Контракт на любовь Дедлайн

«Автор»

2026

Логовская Т.

Контракт на любовь Дедлайн / Т. Логовская — «Автор», 2026

Вике Соколовой нужен муж — не ради любви, а чтобы бабушка наконец согласилась лечиться и перестала распоряжаться её жизнью. Артему Воронову нужна жена — иначе совет директоров похоронит главный проект его компании. Их решение кажется идеальным: фиктивный брак, отдельные спальни и никаких настоящих чувств. Но жить под одной крышей с холодным миллиардером оказывается опаснее, чем подписать контракт. Он защищает Вику от семьи и конкурентов, доверяет ей проект мечты и слишком быстро перестаёт быть просто деловым партнёром. А она становится единственным человеком, рядом с которым Артем теряет контроль. Когда их сделка превращается в оружие в чужих руках, им придётся решить, что важнее: спасти репутацию или признать, что любовь давно вышла за рамки договора.

© Логовская Т., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Ультиматум в цвете мяты	5
Глава 2. Ставка на имидж	11
Глава 3. Столкновение на 40-м этаже	15
Глава 4. Досье на чувства	20
Глава 5. Условия капитуляции	25
Глава 6. Протокол подготовки	32
Глава 7. Белое на белом	37
Глава 8. Трещина в броне	44
Глава 9. Мягкая интервенция	49
Г	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Таисия Логовская

Контракт на любовь Дедлайн

Глава 1. Ультиматум в цвете мяты

Виктория

Мне нельзя сюда. Мне вообще никуда нельзя — кроме как в палату четыре-ноль-два, потому что там сейчас пищит аппарат и это пищание будто решает, сколько у меня осталось воздуха.

— Девушка! — оклик медсестры режет по спине. — Вы куда бежите? Тише!

Тише. Слово втыкается в уши, как булавка. Я не замедляюсь. Каблуки дробят по линолеуму, отдают в колени, в зубы. Запах хлорки забивается в горло, и где-то рядом — странный, сладковато-острый — мятные леденцы. В платном отделении всё стерильное и одновременно домашнее, будто тут специально придумали «уют», чтобы люди меньше боялись. Не помогает. Зелёно-мятные стены. Странный оттенок, как зубная паста из детства, которой меня заставляли чистить зубы «как положено». Я ловлю себя на этой мысли и злюсь. Не время.

Телефон в ладони мокрый. Я держу его так, как держат виноватые доказательства. Экран ещё хранит последнюю строчку от Даши: «Ты где? Через десять минут планёрка. Ты нам нужна.» Планёрка. Договор. Смета. Презентация для крупного заказчика, ради которой мы не спали две ночи. И бабушка, которая «плохо себя чувствует», как всегда, когда в моей жизни что-то начинает складываться. Сердце бьёт в горле. Я не плачу. Даже близко.

Я сворачиваю к посту и практически врезаюсь в каталку. Мужчина в халате раздражённо отступает, как будто я — помеха, а не человек.

— Простите, — выдыхаю я и цепляюсь взглядом за табличку: «Палата №402».

Туда.

— Виктория Соколова? — медсестра вдруг оказывается рядом, берёт меня за локоть — аккуратно, профессионально. Не хватка. Не нежность. Фиксация. — Вы к Нине Петровне? Она... в порядке. Не бегите так.

В порядке. Слово должно успокаивать. А у меня от него сводит челюсть: если «в порядке», то почему меня выдернули из офиса, как школьницу с урока?

— Она... — язык цепляется. — Она звонила?

— Она просила вас приехать. — Медсестра смотрит поверх моих плеч, как на расписание чужих проблем. — Проходите. Но без драм, ладно? Давление у неё скачет от ваших драм.

Без драм. Я киваю. Как всегда. Как хорошая девочка. Иду быстрее, чем надо. Медленнее, чем хочу. Внутри меня всё либо бежит, либо застывает. Дверь палаты тёплая на ощупь. Слишком тёплая для больницы. Я толкаю её и сразу слышу тонкий электронный писк — ровный, настойчивый. Сердце на проводах. Жизнь на экране. Нина Петровна лежит на идеально белых простынях, будто на фотосессии «благородная старость». Поднятая спинка кровати. Капельница. И главное — губы. Подкрашенные, аккуратно. Я знаю этот оттенок: «пыльная роза». Она его экономит, как козыри.

— Ну наконец-то, — говорит бабушка, и в голосе у неё не слабость, а власть. — Я уж думала, не дождусь.

Писк монитора как будто становится громче. Я делаю два шага. Ровно два. Дальше нельзя — если подойду ближе, может треснуть что-то внутри.

— Что случилось? — спрашиваю я и слышу, как у меня хрипит дыхание. — Мне сказали... приступ.

— Приступ, — повторяет она и морщится так, будто слово ей неприятно. — Доктора любят драматизировать. А я... я просто не хочу умирать в одиночестве. Понимаешь?

Вот. Мы на этом месте всегда. Я смотрю на её руки — тонкие, сухие, с цепкими пальцами. На запястье — браслет с фамилией. На тумбочке — стакан с водой, яблоко, и маленькая жестяная коробочка с мятными леденцами. «Чтобы тошнота не подступала», она скажет. На самом деле — чтобы пахло не больницей. И ещё — на боковой стенке тумбочки наклейка, как на мебели из магазина: RAL 9003. Белый. Офисный белый. Тот самый, которым красят всё, чтобы никто не задавал лишних вопросов.

Я цепляюсь за эти буквы и цифры, как за поручень в метро.

— Бабуль, — я произношу это слово осторожно, как пробу температуру воды. — Ты меня напугала. Я сорвалась с планёрки. У нас...

— У вас всегда «у нас», — перебивает она, и подкрашенные губы кривятся в подобие улыбки. — Работа. Проекты. Твои красивые бумажки. А я кто? Я же тебе жизнь дала. Воспитала. Выучила.

Я знаю этот список наизусть. Он у меня под кожей. «Не спорь». «Не повышай голос». «Не делай бабушке хуже». «Будь благодарной». Я стою ровно. Плечи — вниз. Руки — спокойные. Лицо — нейтральное. Только палец сам собой находит кольцо на большом пальце правой руки. Дешёвое, гладкое. Я купила его на распродаже вместе с блокнотом и подумала, что это будет моя маленькая защита: «я взрослая, я могу выбирать». Теперь оно — мой индикатор тревоги. Я кручу его, не замечая, и тут же ловлю себя.

Не сейчас. Не при ней.

— Ты хочешь сказать, что я плохая внучка? — спрашиваю тихо.

Бабушка вздыхает. Делает паузу. Она умеет паузами управлять людьми лучше, чем я — чертежами.

— Я хочу сказать, Викуля, что мне страшно, — говорит она другим тоном. Не железным. Мягким. Таким, от которого внутри сразу встаёт вина. — Мне семьдесят два. Я не молодею. Я лежу тут одна, смотрю в потолок... и думаю: а если со мной что-то случится? А ты одна. Без мужа. Без семьи. Кто тебя защитит? Кто тебе стакан воды подаст, когда ты тоже станешь старой?

Я почти улыбаюсь. Почти. Потому что в голове вспыхивает чужая фраза Даши: «Нина Петровна — генеральный директор твоей совести.» И как бы я ни любила бабушку, я понимаю: сейчас она снова пытается подписать меня под обязательства, которые ей не принадлежат. Писк. Писк. Писк.

— Ты не одна, — говорю я и смотрю на монитор. Линия ровная. Показатели прыгают, но не катастрофа. — Я здесь.

— Сегодня здесь, завтра — на работе. Потом — командировка. Потом — «извини, бабуль, у нас дедлайн». — Бабушка поворачивает голову, и свет из окна ложится на её щёку. Она выглядит хрупкой. И от этого страшнее. — А я хочу... я хочу увидеть, как ты счастлива. По-настоящему. Чтобы у тебя был муж. Чтобы была свадьба. Чтобы...

— Чтобы ты могла выдохнуть, — заканчиваю я, и во мне поднимается усталость. Не от неё. От вечного «должна».

— Да. — Она сжимает пальцы на простыне. — Иначе я... я не знаю. Не выдержу. Сердце уже не то.

На слове «сердце» монитор делает резкий, неприятный всплеск. Писк становится на долю секунды выше, острее. Как игла. Меня прошивает холодом от макушки до пяток. Вот оно. Вот её главный аргумент. Я не плачу. Даже когда в горле комок. Даже когда хочется схватить воздух обеими руками. «Я не дам этому звуку управлять мной», — вспыхивает мысль, как спичка. И в следующую секунду я делаю то, что редко делаю с бабушкой: я не отступаю.

Я подхожу ближе. Беру её руку — сухую, тёплую, с чуть шершавой кожей. Крепко. Не нежно. Так, словно фиксирую сделку.

— Хорошо, — говорю я и слышу, как у меня выпрямляется голос. — Ты хочешь мужа. Ты хочешь свадьбу. Ты хочешь видеть меня «как у людей».

Губы бабушки дрожат. Она смотрит на меня, как на спасение. Как на победу.

— Викуля...

— Подожди, — перебиваю я. Вежливо. Но жёстко. — Я согласна... попробовать. Но не так, как ты привыкла. Я не буду хватать первого встречного, лишь бы поставить галочку.

— Время уходит, — шепчет она и пытается снова нажать на больное.

Я сжимаю её пальцы сильнее. Не больно — так, чтобы она почувствовала, что я здесь. И что я — не ребёнок.

— Время уходит у всех, бабуль. Поэтому слушай мои условия.

Она моргает. В её глазах вспыхивает раздражение. И интерес. Она уважает силу, даже если делает вид, что не выносит её.

— Первое, — я говорю медленно, как диктую текст договора. — Ты лечишься по-настоящему. Не играешь в «мне плохо, чтобы Вика прибежала». Ты выполняешь назначения. Ты не отменяешь обследования, потому что «мне и так понятно». Я хочу видеть врачей. Я хочу знать диагноз. Я хочу контролировать лечение. Поняла?

Её губы приоткрываются. Подкрашенные, упрямые.

— Ты что, не доверяешь мне?

— Я доверяю тебе, — отвечаю я и чувствую, как у меня под ребрами что-то сжимается. — Но я не доверяю твоим методам.

Пауза. Писк монитора снова становится ровным. Мне легче дышать — на миллиметр.

— Второе, — продолжаю я, не давая ей перехватить инициативу. — У меня есть год.

— Год?! — возмущается она так, будто я предложила ей вечность.

— Год, — повторяю я. — Не месяц, не две недели. Я не буду устраивать цирк. Я не буду тащить в дом человека, которого не знаю, только чтобы ты поставила галочку в своём списке «успела».

— Мне семьдесят два, — напоминает она.

— А мне двадцать шесть, — отвечаю я. И впервые за утро чувствую что-то похожее на опору. — И это моя жизнь.

Она смотрит на меня долго. Слишком долго для больничной палаты. Слишком долго для любви.

— Ты стала дерзкой, — наконец говорит бабушка.

— Я стала уставшей, — говорю я честно.

Бабушка хочет что-то сказать — и вдруг её взгляд смягчается.

— Хорошо, — соглашается она неожиданно легко. — Год. Но ты обещаешь, что не будешь тянуть.

Я почти улыбаюсь. Почти. Потому что она уже торгуется. А значит, слышит меня.

— Третье, — говорю я. — Ты не вмешиваешься в выбор. Никаких «сын подруги», «племянник соседки», «вот хороший мальчик из нашего двора». Я сама.

— Но я же опытная, — пытается она.

— А я — взрослая, — отрезаю я. И тут же добавляю мягче, чтобы не сломать: — Ты можешь знакомить меня с людьми, если хочешь. Но без давления. И без истерик. И без «я умру».

Она делает вид, что обижается. Слегка поджимает губы, и на секунду я вижу в ней девочку, которая боится остаться одна. Не манипулятора. Человека. Мне становится больно.

— И последнее, — говорю я тихо. — Если ты снова устроишь «приступ» из-за моего отказа... я не приеду сразу. Я приеду после того, как закончу то, что обязана закончить. Ты этого хочешь?

Это жестоко. Я знаю. Но иначе она будет продолжать нажимать на меня этим звуком, этим писком, этой больницей. Бабушка молчит. Потом вдруг сжимает мою руку в ответ.

— Ты... правда так можешь? — спрашивает она, и в голосе уже не игра.

Я делаю вдох. Хлорка. Мята. Сухой воздух палаты.

— Могу, — отвечаю я. — Потому что я тоже человек. И я тоже не выдержу, если ты будешь делать из моего чувства вины... повод управлять мной.

Она закрывает глаза на миг. Потом открывает.

— Ладно, — говорит она тихо. — Ладно. Я буду лечиться. Я... постараюсь. Только...

— Только что? — я настораживаюсь.

Она смотрит на меня прямо. Нина Петровна всегда смотрит прямо, когда хочет получить своё.

— Только ты не ври мне, Викуля. — И тут же, без паузы, добавляет: — Я хочу, чтобы ты была счастлива.

Вот как она делает. Одной фразой — запрещает ложь. Другой — требует результата любой ценой. Я молчу секунду. Внутри меня что-то сдвигается. Не ломается — именно сдвигается. Как мебель в комнате, которую долго боялась трогать, потому что «так привычно». Счастье. Брак. Любовь. Это всё красивые слова. Они хорошо звучат в чужих историях и плохо помещаются в мою реальность, где аренда студии, кредиты, дедлайны и вечное «ты справишься, ты же умная».

Но бабушка сейчас в больнице. И она держит мою руку. И я понимаю простую вещь, от которой хочется выругаться: иногда ложь — это не предательство. Иногда ложь — это обезболивающее. Мозг по привычке сводит решение к сухой формуле: солгать ради её покоя. От формулировки легче не становится.

— Я не буду делать тебе больно, — говорю я вместо ответа. — Я просто... буду действовать аккуратно.

Бабушка кивает, словно это её устраивает. Она умеет читать между строк.

— Ну вот, — облегчение в её голосе почти настоящее. — А то я уже думала, что умру и не увижу твоего счастья.

Монитор пищит ровно. Я смотрю на линию. Она не падает. Она живёт. Я тоже.

— Я поговорю с врачом, — говорю я, отпуская её руку осторожно, как отпускают то, что ещё может вырваться. — И поеду обратно. У нас работа.

— Работа, — повторяет бабушка, но без прежней язвительности. — Иди. Только помни: год.

— Помню, — отвечаю я.

И выхожу из палаты так, будто под ногами не линолеум, а тонкий лёд. В коридоре воздух холоднее. Пахнет сильнее. Где-то в конце коридора смеются — чужие родственники, чужие истории. Я иду к посту, спрашиваю фамилию врача, записываю время обхода. Делаю всё правильно. Как умею. Как будто «правильно» спасает. На выходе из отделения я наконец позволяю себе остановиться. В дверях — стекло, за ним улица. Серое небо, мокрый асфальт, февральская слякоть, а у меня ощущение, что прошёл год, а не один день.

Я толкаю дверь. Холод сразу бьёт в лицо. Настоящий, честный, без хлорки и мятных конфет. Я делаю вдох, и лёгкие словно вспоминают, что они для воздуха, а не для паники. Телефон вибрирует. На экране — Даша, моя подруга и единственный человек, которому не нужно объяснять, почему бабушкино «мне плохо» иногда страшнее любого клиента. Я отвечаю сразу, потому что иначе она сожрёт меня словами.

— Ну? — вместо приветствия. — Ты жива?

— Я... да, — говорю я и слышу собственный голос со стороны: ровный, как у человека, который всё держит в руках. — Я у больницы.

— Планёрка закончилась. Без тебя. — Даша делает паузу, и я знаю эту паузу: сейчас будет удар правдой. — Клиент недоволен. Один из смежников уже успел сказать, что «дизайнеры всегда витают в облаках». Я его почти не убила.

Я закрываю глаза. Сжимаю телефон. Кольцо на большом пальце снова хочет крутиться. Я держу палец.

— Прости, — говорю я. — Я не могла иначе.

— Я знаю. — Даша вздыхает. В ней нет иллюзий, но есть верность. — Что с Ниной Петровной?

Я смотрю на отражение в стеклянных дверях: бледное лицо, строгий хвост, пальто, которое я не успела нормально застегнуть. В двадцать шесть я умею вести собственную маленькую дизайн-студию, но рядом с бабушкой всё ещё мгновенно превращаюсь в виноватую девочку.

— Она... — я проглатываю слова. — Она в порядке. Но она поставила мне ультиматум.

— О-о, — Даша протягивает это «о» так, будто уже слышала тысячу ультиматумов в этом городе. — И какой? «Роди мне правнука к среде»?

— Почти. — Я открываю глаза. — Я должна выйти замуж. В течение года.

Молчание на линии длится всего секунду. Потом Даша выдыхает короткий смешок.

— Ну наконец-то она добралась до главного. — И тут же серьёзно: — Ты согласилась?

— Я... — горло снова сжимается. — Я согласилась. Но с условиями. И... Даш, я не уверена, что это... реально.

— Реально, — отрезает Даша. — Просто это будет не «сказка». Это будет проект. С дедлайном. С рисками. С бюджетом. Вопрос: ты хочешь «мужа» или хочешь, чтобы бабушка отстала?

Я почти улыбаюсь. Вот за это я её и люблю: она не позволяет мне утонуть в красивых словах.

— Я хочу, чтобы бабушка лечилась, — отвечаю я честно. — И чтобы она перестала... управлять мной через страх.

— Тогда тебе нужен не муж, а решение, — говорит Даша. — И решение должно выглядеть убедительно.

Я прислоняюсь плечом к холодной стене крыльца. Кожа под пальто мгновенно мерзнет. Холодный воздух щиплет нос, но это хороший щипок. Живой.

— Где я возьму человека за год? — спрашиваю я, и это звучит почти смешно. — Я даже на свидания не хожу. У меня работа, бабушка, студия, счета.

— Начнёшь ходить, — сухо говорит Даша. — Или... — она делает паузу, и я слышу, как у неё в голове крутятся варианты. — Или найдёшь того, кому тоже нужно «выглядеть убедительно». Понимаешь?

Я моргаю. Быстро. Как будто меня ослепили.

— Ты о чём?

— Я о том, что в этом городе репутация — валюта, — отвечает Даша. — И некоторые готовы платить за «идеальную картинку». Я сегодня слышала сплетню... на встрече с поставщиками. Про одного очень известного мужика. У него, говорят, проблемы с имиджем. Ему бы... правильную женщину рядом. Для прессы. Для инвесторов. Для приличия.

Моё сердце делает странный прыжок. Не романтический. Рабочий. Как когда ты видишь на столе идеальный материал для проекта, но знаешь: он дорогой и режет пальцы.

— Ты сейчас про... — я не договариваю фамилию, потому что она самавсплывает в голове: Воронов. Артём Воронов. «Воронов-Групп». Человек, который строит половину города и ломает вторую половину тем, что просто на неё смотрит из новостей.

Я никогда его не видела вживую. Только на фотографиях: костюмы, холодные глаза, неулыбчивое лицо, безупречные линии — как дорогая архитектура. И мне почему-то становится не по себе, будто этот холодный взгляд уже находит меня.

— Я ни про кого конкретно, — быстро говорит Даша, будто чувствует мой внутренний отклик. — Я про принцип. Тебе надо перестать думать, что ты обязана быть «правильной». Тебе надо быть умной. И выбрать так, чтобы никто не смог тебя раздавить.

Я выдыхаю. Пар выходит изо рта белым облаком.

— Даш... — я пытаюсь удержаться за её голос. — Это звучит как афера.

— Это звучит как взрослая жизнь, — отвечает она. — И как твой шанс наконец перестать быть хорошей девочкой. Мы обсудим вечером. Ок?

— Ок, — говорю я и смотрю на парковку. На людей, которые спешат. На машины, которые гудят. На мир, который не знает, что я только что подписала невидимый контракт с собственной совестью.

— И, Вика, — добавляет Даша уже мягче. — Ты не одна. Даже если бабушка делает вид, что это так.

У меня сжимается горло. Я не плачу. Я просто крепче сжимаю телефон.

— Спасибо, — говорю я.

Мы прощаемся. Я опускаю руку. И в этот момент телефон снова вибрирует — коротко, настойчиво. Не Даша. Не банк — банк обычно звонит без стыда и без пауз. На экране: «Неизвестный номер». Я смотрю на него секунду. И понимаю, что вот он — тот самый момент, когда жизнь делает вид, что это случайность. А на самом деле — это чётко выверенная линия на мониторе, которая вдруг решает изменить ритм. Я отвечаю.

— Виктория Соколова? — голос в трубке женский, спокойный, офисный. — Добрый день. Вас беспокоят из «Воронов-Групп». Удобно говорить?

Холод с крыльца будто проходит внутрь меня и остаётся там, под рёбрами.

— Да, — говорю я, и мой голос звучит слишком ровно для человека, который только что согласился выйти замуж за год. — Удобно.

— Мы получили вашу презентацию, — продолжает голос. — Руководство хочет обсудить детали. Вы сможете подъехать...

Она называет время. Завтра? Нет. На этой неделе. Скоро. У меня в голове одновременно две мысли — и обе, как скальпель: «Это шанс.» «Это опасно.» Я смотрю на свои пальцы. Кольцо на большом пальце снова просится в движение. Я кручу его один раз — коротко. Как щелчок выключателя.

— Смогу, — говорю я.

Я заканчиваю разговор, не помня, как именно. Стою на крыльце, в холодном воздухе, и почему-то улыбаюсь — не радостно, а нервно. Меня загнали в угол, но впервые я вижу, чем можно отбиться. Бабушка хочет свадьбу. Мне нужна свобода. Даша права: это проект. С дедлайном. И если в этом городе репутация — валюта, то мне нужен кто-то, у кого этой валюты слишком много... и кто умеет играть жестко.

Кажется, я знаю, у кого такие же проблемы с репутацией, как у меня с совестью.

Глава 2. Ставка на имидж

Артём

— Инвесторы не покупают бетон, Артём Сергеевич. Они покупают стабильность.

Фраза повисает над столом, как дым. Тяжёлая, липкая. В зале заседаний пахнет перегретой техникой — проектор работает уже сорок минут, ноутбуки гудят, как маленькие электростанции. Я чувствую этот запах кожей, как предупреждение: сейчас будут жечь. Кресла скрипят. Кожа дорогая. Скрип неприятный — словно кто-то тянет ремень, проверяя, где он у тебя на горле. Я не двигаюсь. Смотрю на экран. Там графики, диаграммы, «риски», «ожидаемая доходность», и внизу — жирным: ТЕНДЕР. НАБЕРЕЖНАЯ. 3 НЕДЕЛИ.

Три недели — это не срок. Это щелчок. Телефон на столе вибрирует. Коротко. Потом снова. Он лежит экраном вниз, но я знаю: это не авария на стройке и не контракт. Это напоминание от пресс-службы. Или от тех, кто считает, что моя личная жизнь — часть отчётности.

— Давайте без театра, — говорю я. Голос ровный. Не тихий. Не громкий. — Стабильность у компании есть. Отчётность прозрачная. Проекты идут.

— Компания — да, — вмешивается другой голос, сухой. — А вы — нет.

Я поднимаю взгляд. Председатель совета сидит напротив, руки сложены, будто молится. Лицо спокойное. Такие люди не повышают голос. Им не нужно.

— Вы слишком... — он делает паузу, выбирая слово, чтобы не звучать как желтая пресса. — ...медийны. И слишком свободны.

Свободны. Слово почти смешное. Свобода — это когда ты можешь позволить себе ошибку. У меня ошибок нет. У меня есть последствия. Телефон вибрирует снова. Крошечная дрожь по дереву стола. По моим пальцам, хотя я к нему не прикасаюсь.

— Мне тридцать четыре, — говорю я. — Я не обязан жениться, чтобы строить набережную.

— Обязаны, — спокойно отвечает председатель. — Если хотите строить её за их деньги.

И кивает на папку слева. Толстая. С наклейкой «PR». Я не открываю. Не нужно. Я уже видел выдержки из «аналитики»: фотографии с мероприятий, заголовки, намёки, «плейбой», «не способен на долгосрочные обязательства», «риск для инвестиций». Не я — образ. Но в их мире разницы нет.

— Мы говорим о семейном статусе, — добавляет он. — О картинке. Инвесторы хотят видеть рядом с вами жену. Не очередную... спутницу.

Скрипит кресло справа. Кто-то двигается, нервничает. В комнате напряжение не эмоция — ресурс. Его либо удерживаешь, либо оно раздавливает. Я беру стакан с водой. Лёд в нём звенит, тонко, как стекло. Вода ледяная, обжигает язык. Хорошо. Холод помогает держать лицо.

— Вы хотите куклу, — говорю я. — Чтобы стояла справа и улыбалась?

— Мы хотим партнёра, — тут же парирует председатель. — Того, кто не станет вашим слабым местом.

Я смотрю на него. Долго. Внутри меня ничего не вспыхивает. Я давно не позволяю себе вспышки. Вспышки — это то, чем управляют люди, которые привыкли выигрывать у других. Мне нужно выигрывать у себя.

— Слабое место — это отсутствие контроля, — говорю я. — И вы предлагаете мне его увеличить.

— Мы предлагаем вам снизить риски, — упрямо повторяет председатель. — Снять поводы для атак.

На секунду в голове возникает фамилия — Ланской. Не потому что я люблю раздавать врагам имена. Потому что он уже объявился. Пробует. Пишет. Подбрасывает. Слишком активный, чтобы быть просто конкурентом. Слишком личный, чтобы быть просто бизнесом.

— Угроза не исчезнет от кольца на пальце, — говорю я. — Она лишь сменит угол атаки.

— Угроза усилится, если тендер сорвётся, — отрезает председатель. — И если ваша репутация продолжит гулять по заголовкам.

Телефон вибрирует. На этот раз — длиннее. Настойчивее. Как будто ему тоже надо слово. Я кладу ладонь на стол. Ровно. Дерево тёплое, отполированное, будто его гладили годами. Я чувствую, как у меня немеют мышцы плеч. Это приходит всегда одинаково: сначала шея становится камнем, потом плечи, потом — лицо. Камень удобен. Камень не выдаёт. Я смотрю на каждого по очереди. Совету нужна победа. Мне — время.

— Хорошо, — говорю я.

По комнате проходит едва заметное облегчение: кто-то выдыхает, кто-то расслабляет челюсть. Они уже празднуют. Я даю им одну секунду. Потом продолжаю:

— Вопрос с невестой решён.

Тишина. Такая плотная, что слышно, как холодильник в углу щёлкает реле. Как скрипит кожа под чьей-то спиной. Как лёд в моём стакане медленно трескается.

— Простите? — председатель слегка приподнимает брови.

Я наклоняюсь вперёд. Спокойно. Без улыбки.

— Вопрос решён, — повторяю. — Вы получите нужную картинку. В сроки. До подписания по набережной.

Это ложь. Чистая. Техническая. Не про чувства. Про управление. Телефон вибрирует коротко, словно одобряет.

— Нам нужны подтверждения, — говорит председатель. Он уже не нападает — он проверяет, насколько я готов играть по их правилам.

— Вы их получите, — отвечаю я.

— И никаких... сюрпризов, — добавляет кто-то из края стола. — Нам не нужна женаскандал.

Я не поворачиваю голову. Не даю ему веса.

— Мне нужен партнёр, а не кукла, — произношу я. И произношу это так, чтобы они услышали не «романтика», а «условие». — Тот, кто выдержит давление. Кто не станет моей уязвимостью.

Председатель смотрит на меня внимательнее. Слишком внимательно. Он умный. Он слышит, что я не сдаюсь — я перепаковываю.

— Тогда действуйте, — говорит он наконец. — И помните: совет может заблокировать проект.

Угроза произносится без металла. Как констатация факта. Самое неприятное — в таких угрозах нет эмоций. Их нельзя отзеркалить. Их можно только принять к сведению. Я киваю.

— Заседание закрыто, — говорю я.

И закрываю ноутбук одним движением. Щелчок крышки — как точка. Кресла скрипят громче, люди поднимаются. Я не смотрю на их лица. Мне не нужно. Я слышу: они уходят с ощущением, что выиграли. Пусть. Они выиграли у меня минуту. Я выиграл у них три недели. Лифт пахнет чистым металлом и чужими парфюмами. Двери закрываются, и мир снаружи становится глухим. Здесь проще дышать. Здесь никого, кроме зеркала, которое показывает мне моё лицо — спокойное, собранное, правильное.

Ритм движения лифта вниз ровный. Толчок — пауза — толчок. Как пульс. Как метроном. Телефон наконец оказывается в руке. Экран вспыхивает. Пропущенные от пресс-службы. Несколько сообщений от помощника. Одно — от неизвестного номера. Я не открываю. Не сейчас. Я набираю короткое. «СБ. Досье. Срочно. Список кандидатов — по всем нашим под-

рядчикам и ключевым партнёрам. Без утечек.» Палец висит над «отправить» на секунду. Не потому что сомневаюсь. Потому что на миг в теле появляется то самое неприятное, человеческое: ощущение, что меня снова ставят в позицию, где я должен доказывать свою пригодность.

Не им. Себе. Я нажимаю. Вибрация лифта совпадает с вибрацией телефона. Два ритма, один смысл: вниз. Вглубь. В контроль. Двери лифта открываются на моём этаже. Воздух коридора прохладнее, суше. Ковер приглушает шаги, словно здание само умеет хранить чужие секреты. Я иду в кабинет, не ускоряясь. Люди в приёмной поднимают головы, кивают. Я отвечаю коротким движением. Ничего лишнего. Внутри всё так, как я люблю: порядок, линии, стекло, камень. Здесь ничего не напоминает о том, что можно потерять. Здесь всё напоминает, что можно удержать.

Я закрываю дверь. На столе — свежая стопка документов. Вверху — папка с надписью «Соколова». Тонкая. Слишком тонкая для человека, которого собираются втянуть в мой цирк. Я сажусь. Кресло подо мной не скрипит — оно умеет молчать. Я запускаю планшет. Экран светится ровно, холодно. На нём — презентация: визуализации, планировки, схемы. И чертежи. Я люблю чертежи. В них нет лжи. Есть либо расчёт, либо ошибка. Чёткие линии, логика пространства, подчинение формы функции.

Первый лист — мягкие формы. Много воздуха. Свет. Гладкие переходы. Это красиво. И слишком безопасно для игры, в которую меня заставляют играть. Я пролистываю дальше. И останавливаюсь. Тут — другое. Резкость. Смелее. Как будто автор не просит разрешения. Виктория Соколова. Имя я произношу внутри без интонации. Просто фиксирую. Двадцать шесть, судя по анкете. Дизайнер. Своя студия. Проекты — не гигантские, но заметные. И главное — в её документах нет привычной липкой вежливости. Нет этой жажды понравиться «большому человеку».

Она не «хочет работать с Вороновым». Она предлагает решение. Я пролистываю ещё. Там — расчёты, материалы, схемы потоков людей. Работает головой. Не только вкусом. Телефон ложится на стол рядом. Экран гаснет. Потом вибрирует, но я не реагирую. Пускай. Вибрация — не приказ. Это шум. Я открываю файл с комментариями. Читаю сухие пункты: сроки, стоимость, риски. В одном месте — жёсткая пометка: «Невозможно без согласования с городскими службами». Не «мы постараемся». Не «мы найдём компромисс». Просто невозможно.

Честность. Опасная штука. Я откидываюсь на спинку. Смотрю на потолок. Секунда тишины — и снова к экрану. Моя задача простая. Найти женщину, которая выдержит публичность и не разрушится от давления. Которой не нужна моя фамилия, потому что она и так стоит на ногах. Которую нельзя купить простым счетом или обещанием. Партнёр. Не кукла. И ещё — она должна быть достаточно упрямой, чтобы не начать играть в «любовь» ради бонусов. Мне не нужна женщина, которая завтра будет требовать от меня того, чего я не собираюсь давать.

Никаких мыслей о любви. Вообще. Это не та тема, где я собираюсь быть честным. Я смотрю на её чертёж. Линии точные. Но в них есть характер. Почти вызов. На секунду перед глазами всплывает слово председателя: «стабильность». Они хотят стабильность в кадре. Значит, я дам им кадр. Но кадр будет мой. Телефон снова вибрирует. На этот раз я беру его. Сообщение от СБ: «Принято. Дадим варианты. По Соколовой тоже?»

Я смотрю на фамилию в папке. Слишком быстро. Слишком точно. Будто кто-то заранее подложил мне эту папку, зная, что совет прижмёт. Я не верю в совпадения. Я верю в причинно-следственные связи. «По Соколовой», — набираю я. — «Полное. Репутация, финансы, связи. Особенно — Ланской.» Пальцы двигаются быстро. Без эмоций. Но внутри что-то сдвигается — не тёплое, не мягкое. Азарт. Рабочий. Холодный. Потому что если Ланской уже ищет мои слабые места, то я превращу их в ловушки. И начну с самого очевидного — с того, что совет считает моим слабым местом.

С семейного статуса. Я возвращаюсь к презентации. Приближаю один из планов. Линии сходятся в узел. Точка входа, точка контроля. Всё читается. Я поднимаю взгляд на окно. Город

внизу живёт своим шумом. Машины бегут, люди торопятся, никто не знает, что на сороковом этаже только что родилась сделка, которая изменит несколько жизней. Виктория Соколова. Слишком гордая, чтобы продаться. Идеально.

Глава 3. Столкновение на 40-м этаже

Виктория

— Ты сейчас выглядишь так, будто идёшь не на встречу, а на приговор, — Даша протягивает мне бумажный стакан с кофе. По её лицу видно: ещё секунда — и она сама утащит меня обратно.

Картон обжигает ладонь через тонкую крышку. Запах — горький, честный, спасательный. Я делаю глоток и понимаю, что язык дрожит. Не от горячего.

— Спасибо, — говорю я, и это звучит не как благодарность, а как попытка удержать голос в одной тональности.

Приёмная «Воронов-Групп» стерильная, как операционная, только вместо хлорки — стекло и дорогой холод. Сороковой этаж. Город внизу похож на карту: линии, точки, поток. Всё, что я умею любить, когда оно не связано с живыми людьми. «Руководство хочет обсудить детали». Женский голос из трубки вчера звучал так спокойно, словно речь о переносе поставки плитки. А внутри у меня уже начался допрос.

Даша откидывает волосы за ухо, наклоняется ближе.

— Слушай сюда. Не оправдывайся. Не улыбайся слишком много. И не говори «простите» каждые две минуты. Он на это... — она щёлкает пальцами, — аллергик.

Я криво усмехаюсь. На секунду.

— Ты его знаешь?

— Я знаю типаж, — пожимает плечами Даша. — Мужики такого уровня считают, что мир держится на их расписании и страхе остальных людей.

Я снова отпиваю кофе. Горечь собирает меня в кучу. Пальцы сами ищут кольцо на большем пальце — мой глупый маркер тревоги. Я ловлю себя и убираю руку в карман пальто. Не крутить. Не выдавать.

— Это просто встреча по проекту, — говорю я. Слишком быстро. Слишком убедительно. Даже для себя.

Даша смотрит на меня так, словно видит прозрачное.

— Это «просто встреча» в их мире равна «мы сейчас проверим, можно ли тебя сломать и сколько это будет стоить», — спокойно произносит она. — И да, у тебя есть один плюс.

— Какой?

— Ты не продаёшься, Вик, — говорит Даша и мягко касается моего локтя. — Ты злишься.

Я хочу сказать, что это не плюс. Что злость — это риск. Что злость вырывается наружу и делает тебя уязвимой. Но я молчу, потому что где-то внутри правда: злость — это не слёзы. Злость держит позвоночник.

— И ещё, — Даша кивает на мою папку. — Ты взяла всё?

Я прижимаю папку крепче. Она тяжёлая. Бумага, распечатки, цветопробы, схемы, презентация на флешке. И между ними — мой скетчбук. Тот самый, в котором я рисую, когда не могу сказать словами. Тонкий, серый, затёртый по углам, с резинкой, которая держит мои мысли вместе.

— Взяла, — отвечаю я.

— Тогда запомни: если он скажет, что твоя концепция «слишком мягкая», ты не будешь сдвигаться, — Даша почти улыбается. — Ты скажешь: «Она человеческая». Или «она работает». Или «вот расчёты». Поняла?

Слова Даши идут по венам, как кофеин.

— Поняла.

В глубине приёмной за стеклянной перегородкой кто-то говорит по телефону. Чужие голоса, чужая уверенность. Мне хочется превратиться в невидимку и одновременно — стать

больше. Даша переводит взгляд на дверь справа — строгую, без таблички, как будто на ней не нужно объяснять, кто там хозяин.

— Всё, — шепчет она. — Пошла.

Я делаю ещё один глоток. Ставлю стакан на край стола — пальцы отпускают его неохотно, как будто кофе мог быть щитом. Поправляю ремень сумки, папку прижимаю к груди. Сердце — в горле.

— Вика, — Даша ловит мой взгляд. — Я рядом. Вон там. Если что — просто выйдешь и скажешь, что тебе надо в туалет. И мы уйдём. Плевать на них.

Я киваю. И делаю шаг к двери. Пока не сбежала. Кондиционер бьёт в лицо сразу, как только я переступаю порог. Холод, сухой, офисный — такой, который сушит глаза и делает кожу на руках тоньше. В комнате пахнет чистотой и чем-то металлическим. Не больничным. Деловым. Кабинет Артёма Воронова — не «роскошный». Он просто правильный. Камень, стекло, ровные линии. Меньше декора — больше власти. И огромное окно: город как трофей.

Он стоит у стола и не спешит садиться. Высокий. Костюм сидит безупречно, будто его шили не по меркам, а по требованиям. Лицо спокойное. Глаза холодные, стальные: не смотрят — оценивают. Я чувствую, как папка в руках становится тяжелее. Будто бумага набрала вес от одного его взгляда.

— Виктория Соколова? — голос ровный, но в нём есть вибрация, как у двигателя на холостых. Не громко. Просто... физически ощущается.

— Да, — говорю я.

«Не оправдывайся».

— Проходите, — он кивает на стол. — Садитесь. Или стойте. Мне всё равно.

Это звучит так, будто ему правда всё равно. И это хуже, чем если бы он был хамом. С хамом можно спорить. Его можно ненавидеть. А с равнодушием спорить нечем. Я выбираю стул. Сажусь ровно. Папку кладу на стол. Стол холодный на ощупь, как ледяная плита. Пальцы сразу хотят согреться, спрятаться. Воронов садится напротив. Не близко. Но и не далеко — на расстоянии, где разговор неизбежен.

— Я посмотрел вашу презентацию, — говорит он.

«Посмотрел». Не «понравилось». Не «интересно». Просто факт.

— Готова ответить на вопросы, — говорю я.

Он молчит секунду. Смотрит на папку, а не на меня. И от этого у меня под лопатками бегут мурашки. Как будто он читает не бумагу, а меня.

— Вопрос один, — наконец произносит он. — Зачем вы сделали набережную такой... мягкой?

Я моргаю. Один раз. Медленно. Вот оно. Даша была права. Слово пришло ровно то.

— Потому что это общественное пространство, — отвечаю я спокойно. — Там будут дети. Пожилые. Люди, которые устали от бетона и стекла. Это не витрина.

— Это витрина, — отрезает он. — У меня тендер. У меня инвесторы. У меня конкуренты. У меня город, который смотрит. Вы предлагаете им лавочки и светильники, как в скандинавском каталоге.

Внутри меня вспыхивает. Не романтика. Не страх. Чистое профессиональное раздражение.

— Я предлагаю сценарии, — говорю я и раскрываю папку. Бумага шуршит. Сухо. Резко. — Потоки. Зоны. Свет, который не слепит. Покрытие, которое не превращается в каток в феврале. И зелень, которая выживет, а не умрёт через месяц.

Он смотрит на мои листы. Потом на меня. Взгляд ровный, как линейка.

— Зелень — это красиво, — говорит он. — И дорого.

— Дорого — это переделывать, — отвечаю я. — И дорого — это травмы, если люди будут падать на голом камне.

Его лицо не меняется. Он не улыбается. Не раздражается. Но я вижу — по тому, как он чуть наклоняет голову, — что он слушает. И всё равно давит.

— Ваш дизайн слишком... безопасный, — говорит он. — У меня ощущение, что вы боитесь сказать что-то громко.

Я сжимаю пальцы на краю папки. Холод стола уходит в ногти.

— Я не боюсь, — отвечаю я. — Я выбираю функциональность.

— Функциональность не выигрывает тендер, — его голос вибрирует чуть сильнее. Как будто он специально опускает его на полтона вниз, чтобы у меня по коже прошёл ток. — Вы понимаете, что проигрыш — это не просто «не получилось»? Это репутация. Это деньги. Это люди. Это атаки.

«Атаки». Слово словно цепляет. Я держу лицо. Но внутри всё собирается в точку: он не про лавочки. Он про войну.

— Понимаю, — говорю я. — И поэтому я здесь.

Он молчит. Берёт один лист, смотрит. Потом кладёт обратно. Аккуратно, как будто бумага — не моя, а его.

— Вы работаете сами? — спрашивает он.

— У меня студия, — отвечаю я. — Небольшая. Я веду ключевые проекты.

— То есть вы привыкли, что вас слушают, — произносит он.

— Я привыкла, что меня слышат, когда я права, — отвечаю я, и это выходит слишком честно.

Он поднимает бровь. Чуть-чуть. Почти незаметно. Но для меня это как вспышка в темноте. В кабинете холодно. Кондиционер гудит ровно, как белый шум. У меня мерзнут кисти, но я не прячу их.

— Хорошо, — говорит он наконец. — Давайте про конкретику.

Он наклоняется к плану, и воздух рядом с ним вдруг меняется. Я ловлю запах — дорогой, сухой, с металлической нотой. Парфюм не сладкий. Резкий. Взрослый. Он не зовёт — он обозначает территорию.

— Здесь, — он касается пальцем схемы. — Узел. Слишком много воздуха. Пустота.

— Это не пустота, — отвечаю я. — Это точка обзора. Здесь люди остановятся, сделают фото. Здесь будет жизнь.

— Жизнь не приносит прибыль, — произносит он.

Я смотрю на него. Прямо. И вижу: он говорит так, потому что это его броня. Потому что если он признает «жизнь», ему придется признать, что он тоже человек.

— Прибыль приносит доверие, — говорю я тихо. — Люди должны захотеть туда прийти. Снова. Не один раз ради отчёта.

Он не отвечает сразу. Смотрит на план. Потом на меня.

— Вы уверены в этом? — спрашивает он.

— Да.

— И если я сейчас скажу, что вы ошибаетесь?

— Тогда я покажу расчёты, — отвечаю я.

— А если я скажу, что расчёты — фигня, а мне нужно «вау»?

Я выдыхаю. И чувствую, как адреналин поднимается, будто по лестнице. От живота к груди. К горлу.

— Тогда мы будем спорить, — говорю я. — Потому что «вау» без смысла — это декорация. А вы строите город, а не сцену.

Тишина. Я слышу, как кондиционер щёлкает. Как по стеклу окна где-то далеко стучит дождь или ветер — не знаю, но звук есть. И как внутри меня бьется сердце. Он откидывается на спинку кресла.

— Вы смелая, — говорит он.

Судя по его тону, это не комплимент. Я почти усмехаюсь. Почти.

— Я профессиональная, — поправляю я.

Он смотрит так, будто это его устраивает. И тут же снова давит.

— Ваши формы всё равно слишком мягкие, — повторяет он. — Не выдержат давления.

Я на мгновение закрываю глаза. Не демонстративно. Просто моргаю дольше обычного, чтобы собрать мысли. Потом достаю из папки скетчбук. Резинка щёлкает, как маленькая пощёчина. Бумага внутри пахнет карандашом и чем-то тёплым, домашним — как будто мой внутренний мир пытается сопротивляться этому стеклянному холоду.

— Это не в презентации, — говорю я и раскрываю страницу. — Это — вариант «жестче».

Я поворачиваю скетчбук к нему. Рисунок быстрый, живой: линии, акценты, диагонали, световые точки. Там есть характер. Там есть напряжение. Он не тянется сразу. Смотрит.

— Вы это сделали когда? — спрашивает он.

— Вчера ночью, — отвечаю я честно. — После вашего звонка. Потому что я поняла, что вам нужно не «красиво». Вам нужно выиграть.

Его взгляд становится... внимательнее. Всё так же холодно. Но чуть глубже.

— И вы готовы менять концепцию под меня? — спрашивает он.

Вот сейчас главное. Если я скажу «да» слишком быстро — я кукла. Если скажу «нет» — я неуправляемая. Я делаю вдох. Холодный воздух режет нос.

— Я готова менять концепцию под задачу, — отвечаю я. — Не под каприз.

Он смотрит на меня долго. Слишком долго. Я чувствую этот взгляд кожей, как давление в груди.

— Хорошо, — произносит он наконец. — Давайте так.

Он наклоняется снова, берёт ручку, делает пометку на моём листе. Чернила ложатся уверенно. Без сомнений.

— Вот здесь вы усиливаете линию, — говорит он. — Убираете эту «милоту». Добавляете контраст. Не бойтесь.

«Не бойтесь». Слово раздражает. Потому что я не боюсь. Я просто выбираю.

— Это не милота, — говорю я.

— Это милота, — спокойно отвечает он, даже не поднимая глаз. — И вы это знаете.

Я сжимаю челюсть. Слишком сильно. В висках пульс. Он поднимается из кресла. Встаёт. И делает шаг к столу сбоку, где разложен большой чертёж на плотной бумаге. Видимо, мой же, но в масштабе. Я не заметила его раньше.

— Подойдите, — говорит он.

Не просьба. Инструкция. Я встаю. Подхожу. Папка остаётся на столе, но её вес будто продолжает висеть у меня на руках. Кондиционер сверху дует прямо на шею. Мурашки бегут по позвоночнику. Я ненавижу этот холод. И сейчас он кажется частью его системы защиты: заморозить, чтобы не почувствовали. Воронов стоит рядом с чертежом. Настолько рядом, что я чувствую его тепло сквозь холод воздуха. Смешно. Но так.

— Смотрите, — говорит он, и голос его вибрирует ближе. Не в комнате — в моих ребрах. — Если вы ставите здесь акцент, вы собираете поток. Понимаете?

Я смотрю. Да, понимаю. Он прав. Но он прав так, как прав человек, который привык, что его правота — это закон.

— Понимаю, — отвечаю я.

— Тогда делайте.

Он отступает на полшага, давая мне место. Не галантно — функционально. Я наклоняюсь над чертежом. Бумага гладкая, холодная. Линии чёткие. Я тянусь рукой, чтобы показать узел, и в этот момент понимаю: мои пальцы дрожат. Чуть-чуть. «Не отступай». Я кладу ладонь на чертёж. Ровно. Уверенно. Чтобы не трястись. И задеваю его пальцы. Всего на пару секунд.

Кожа к коже. Тепло короткое, неожиданное — как электричество, которое не должно было случиться в деловом кабинете.

Никто из нас не отдёргивает руку сразу. Касание длится всего мгновение, но я успеваю это заметить. Я поднимаю голову. Наши взгляды встречаются. И мир на долю мгновения становится тише: кондиционер, стекло, город, всё. Только его глаза — стальные. И мои — которые пытаются быть такими же. Адреналин подскакивает мгновенно. Он опасен — и прекрасно это знает. Я убираю руку. Медленно. Не резко. Чтобы не выглядеть испуганной.

— Вот здесь, — говорю я и показываю уже без касаний. — Можно усилить.

Он не отвечает сразу. Смотрит на чертёж. Потом снова на меня. И произносит:

— Упрямство — ценная черта.

Почти похвала. Но расслабляться рядом с ним рано.

— Я думала, вы скажете «неудобная», — произношу я.

— Одно и то же, — отвечает он.

Я хочу сказать, что нет. Что неудобная — это та, кого выбрасывают. А ценная — это та, кого используют. Разница есть. Просто обе версии не про свободу. Но я молчу. Он возвращается к своему столу. Берёт мою папку. Не раскрывает — просто держит в руках. И от этого мне становится не по себе: папка в его руках выглядит так, словно всегда ему принадлежала.

— Вы знаете, что такое контракт? — спрашивает он.

Я моргаю.

— Да, — отвечаю я осторожно. — Я работаю по договорам.

— Нет, — он качает головой. — Я не про бумагу. Я про условия. Про границы. Про то, что вы готовы отдать и что хотите получить.

Меня прошивает холодом. Не от кондиционера.

— Это к чему? — спрашиваю я.

Он смотрит на меня так, будто решает, стоит ли тратить время на объяснения.

— Ко мне приходят люди и улыбаются, — говорит он. — Говорят «да» заранее. Потом ломаются. Или продаются. Мне это неинтересно.

— А мне неинтересно ломаться, — отвечаю я, и голос становится чуть резче, чем нужно.

Он кивает. Одним коротким движением.

— Тогда мы совпали.

Тишина снова. Она давит. Я чувствую, как под пальто становится жарко, хотя в кабинете холодно. Как пульс бьётся в запястьях. Как кольцо на большом пальце в кармане будто хочет крутиться само — как нерв.

— Виктория, — произносит он, впервые называя меня без фамилии.

И это звучит странно. Слишком лично для человека, который только что называл мой проект «милотой».

— Да?

Он кладёт папку на стол. И захлопывает её. Звук глухой, плотный, как удар печати. Как финальная точка в документе. Я вздрагиваю внутри, но не внешне.

— Будем писать ваш новый контракт.

Глава 4. Досье на чувства

Артём

— Ланской у её студии, — говорит голос в наушнике.

Ветер срывает слова с воздуха, как бумагу с доски объявлений. Дождь бьёт по стеклянному ограждению террасы, по плитке, по моим рукам — мелко, упрямо. Я стою под навесом, но всё равно чувствую влажный холод в костях. Пентхаус на высоте всегда напоминает: наверху не теплее. Наверху просто сильнее дует.

— Подтверди, — говорю я.

Мне не нужны эмоции. Мне нужны факты. Планшет в руке шелестит — тонкий звук, как если бы кто-то переворачивал страницы, не касаясь бумаги. На экране — её фотография. Чёткая, официальная, с нейтральным фоном, как у людей, которые привыкли, что их лицо — часть резюме. Волосы убраны. Взгляд прямой. Слишком прямой для тех, кто просит. Вчера она не просила.

— Подтверждаю, — отвечает начальник службы безопасности. — Машина стояла два раза. Сегодня — снова. Номер меняли. Водитель — другой. Но манера одна: не прячутся, показывают, что могут стоять.

Дождь швыряет капли в лицо. Я не отвожу голову. Пускай.

— Он хочет, чтобы я узнал, — говорю я. Это не вопрос.

— Он хочет, чтобы она узнала, — поправляет СБ. — Чтобы она испугалась и пошла к кому-то за защитой. Или чтобы у вас возникла слабая точка.

Слабая точка. Я выдыхаю. В воздухе пахнет мокрым камнем и городом. Снизу шумят машины, но здесь, на террасе, город звучит глухо — как океан за стеной. Я поднимаю стакан. Виски тёмный, как мокрый асфальт. Один глоток — и вкус торфа, дыма и чего-то горького, взрослого, возвращает в тело контроль. Не тепло. Контроль.

— Она знает? — спрашиваю я.

— Пока нет. Мы не светимся.

— Хорошо.

Я смотрю на её фото ещё секунду. В голове всплывает её рука на чертеже. Две секунды контакта. Слишком много для «просто деловой встречи». Не потому что это было интимно. Потому что это было... честно. Она не отдернула руку в панике. Не сыграла в кокетство. Просто стояла. Это цепляет. Скрытый интерес — это тоже слабость, если его не оформить в задачу.

— Что по её окружению? — спрашиваю я.

— Чисто. Родственных связей с Ланским нет. Внешних контрактов с ним — нет. Но у неё есть долг по студии, — голос СБ ровный, как отчёт. — И... бабушка.

Я перевожу взгляд на край террасы, где вода сбегает тонкими струйками. Бабушка — это не просто родственник. Это рычаг. Я видел такие рычаги тысячу раз.

— Что с бабушкой? — спрашиваю я.

— В больнице. Платное отделение. Счёт растёт. По нашей информации, внучка сорвалась с работы и приезжала к ней. Давление, манипуляции... типичная история.

Я делаю второй глоток. Виски режет горло. Хорошо.

— И ещё, — добавляет СБ. — Она делала проекты для хосписа. Почти бесплатно. Несколько раз. Не пиар. Тихо.

Я медленно поворачиваю планшет, пролистываю досье. Движение пальца по стеклу — сухое, точное. Внутри — строчки: названия, даты, благодарственные письма, фотографии коридоров с мягким светом. Не «элитно». Не «дорого». Просто... по-человечески. Я задерживаю взгляд. На секунду. Там, где большинство ищет выгоду, она оставляет след без подписи. Это либо наивность, либо принцип. Принцип опаснее. Принцип не покупается.

— Она не шпион, — говорю я.

— Мы не можем гарантировать до конца, — осторожно отвечает СБ. — Но совпадений нет. Скорее — объект интереса. Она на радарх Ланского, потому что вы её позвали.

Правильно. Я сам подсветил её. Я сам сделал ход. Теперь мне нужно, чтобы фигура не сгорела раньше времени.

— Ясно, — говорю я. — Слушай внимательно. По студии — усилить наблюдение. Не пугать. Не контактировать. Просто вести.

— Принято.

Я смотрю на дождь. Ветер поднимает брызги, они летят мелкими иглами. Я сжимаю стакан. Костяшки белеют. Это не злость. Это расчёт, который вошёл в стадию действий.

— По бабушке, — говорю я.

— Да?

Секунда. Я проверяю себя. Это не благотворительность. Это контроль рисков. Контроль — мой язык.

— Оплатить счёт, — произношу я. — Анонимно. Так, чтобы не отследили на меня. Через цепочку. Сегодня.

— Артём Сергеевич...

— Сегодня, — повторяю я.

Пауза в наушнике короткая. СБ умеет не спорить. Он умеет уточнять детали, чтобы потом не объяснять ошибки.

— Понял. Сумма?

— Полностью, — говорю я. — И не просто счёт. Включая обследования, которые им будут навязывать «на всякий случай». Пусть делают всё, что нужно. Без экономии.

— Принято.

Я закрываю досье на планшете. Фото исчезает. Экран на миг отражает моё лицо — темное, спокойное, чужое самому себе в этом ветре. Я делаю третий глоток. Вкус торфа остаётся на языке, как напоминание: мягкости здесь нет. Есть решение.

— И ещё, — говорю я. — Проверь, кто сливал Ланскому информацию по моим встречам за последние недели. Он слишком быстро реагирует.

— Уже работаем, — отвечает СБ. — Но... если вы собираетесь вводить её в вашу зону...

— Я собираюсь держать ситуацию в руках, — отрезаю я.

— Принял.

Связь обрывается. Ветер остаётся. Дождь остаётся. Я остаюсь на террасе ещё минуту, не двигаясь. Потом ставлю стакан на столик. Стекло звякает о камень. Слишком громко для такого вечера. Я беру планшет. Возвращаюсь к её досье. Виктория Соколова. Работа для хосписа. И долги. И бабушка. Три точки, через которые её можно сломать. Или удержать. И мне нужно не сломать. Мне нужно, чтобы она согласилась.

Не потому что мне нужны «чувства». А потому что мне нужна партнёрская сделка. Там, где другая сторона принимает условия осознанно, шанс утечки меньше. Шанс истерики меньше. Шанс предательства — меньше. Хотя предательство не исчезает. Оно просто ждёт момент. Я убираю планшет под мышку и разворачиваюсь к стеклянной двери. Камень под подошвами мокрый, скользкий. Я иду ровно. Без спешки. С этого вечера я больше не наблюдатель.

С этого вечера она — актив. И зона ответственности. Внутри дома тепло сухое, правильное. Пентхаус не пахнет людьми. Он пахнет чистыми поверхностями и свежим воздухом из системы вентиляции. Никакой кухни, никаких случайных запахов. Никакой жизни, которая могла бы оставить след. Я прохожу в кабинет. Закрываю дверь. Здесь тише. Здесь можно разложить решение по пунктам, как договор. На столе — папка с заметками по «семейному статусу». Совет директоров любит красиво упакованные ультиматумы. Я открываю её, пролистываю.

ваю. Внутри — формулировки, сценарии, «медиаплан» и предложения от пиарщиков, словно речь о запуске продукта, а не о человеческой жизни.

Они и правда думают, что это продукт. Я нажимаю кнопку на телефоне. Один номер в избранном. Юрист отвечает быстро — он тоже живёт в дедлайнах.

— Слушаю.

— Мне нужен типовой контракт, — говорю я.

— Брачный? — пауза. Он не удивляется. Просто уточняет.

— Да. Но с моими условиями.

— Срок?

— Год, — произношу я автоматически и ловлю себя на этом слове, как на чужом.

Год — это срок, который ставят на проекты. На аренду. На испытательный период. На человека — тоже, если считать его функцией.

— Понял. Условия? — голос юриста деловой, сухой.

Я откидываюсь на спинку кресла. Внутри меня нет сомнений. Есть только список того, что нельзя допустить.

— Раздельное имущество, — говорю я. — Фиксация публичных обязательств. Пункты о конфиденциальности. Штрафы за утечку.

— Детально пропишем. Развод?

Вот слово, которое делает любую фикцию реальнее. Развод — это всегда признание, что ты допускаешь конец. Я не допускаю. Я планирую.

— Да. Пункты о разводе — жёстко, — говорю я. — Быстрый выход. Без раздела. Без шантажа. Без возможности блокировать мои активы.

— Угу. Опекa? Дети? — спрашивает юрист автоматически.

— Нет, — отрезаю я. — Не в этот раз.

Тишина на линии на секунду плотная. Юрист понимает: «не в этот раз» звучит как будто раньше было «в тот раз». Но он слишком профессионален, чтобы задавать личные вопросы.

— Хорошо. Встречные условия для неё? — уточняет он.

Вот тут важнее всего. Если я сделаю контракт односторонним, она почувствует. И уйдёт. Или согласится из слабости, а потом взорвётся. Мне не нужен взрыв. Мне нужна система, которая держит обоих.

— Гонорар, — говорю я. — За публичную роль. За риски. Плюс безопасность. Плюс гарантии по её работе.

— Конкретика?

Я смотрю на открытую папку, на листы с печатями. Пальцы сами начинают перелистывать. Бумага шуршит сухо. Неприятно. Слишком похоже на суд. Я ненавижу суды. Там люди превращают жизнь в документы.

— Мы сделаем так, чтобы она не чувствовала себя купленной, — говорю я. И это звучит странно даже мне самому: как будто я вообще думаю о её ощущениях.

На самом деле я думаю о рисках. О реакции. О поведении. Но формулировка цепляет. Я раздражаюсь.

— Внесите пункт: никакой критики её работы публично, — добавляю я. — Я не собираюсь ломать её имидж. Мне нужна успешная женщина рядом. Не жертва.

— Записал.

Я перевожу взгляд на монитор ноутбука. Там — таблица по тендеру. Три недели. Совет хочет картинку — значит, картинка должна появиться быстро.

— Подготовьте черновик к утру, — говорю я. — И отдельный документ: сценарии развода. Стратегии. Как это выглядит для прессы. Я хочу видеть варианты.

— Сделаем.

Я сбрасываю звонок и остаюсь в тишине. В кабинете слышно только то, чего не слышишь в офисе: как система вентиляции перекачивает воздух, как где-то за стеклом шуршит дождь, как собственное сердце бьётся ровно. Я смотрю на свои руки. Они спокойны. А внутри — тонкая вибрация, как от лифта, который идёт вниз. Это не страх. Это азарт. Мне нравится играть, когда правила ясны.

Проблема в том, что Виктория — не правило. Она — переменная. Я открываю ноутбук. Снова поднимаю её досье. Пролистываю на раздел с социальными проектами. Хоспис. Письмо благодарности. Сухая подпись. Почему человек делает такое бесплатно? Не ради лайков. Не ради прессы. Ради чего-то, что у меня давно не является аргументом. Ради смысла. Я закрываю вкладку. Не потому что неинтересно. Потому что опасно.

Смысл — это то, чем потом тебя шантажируют изнутри. Я встаю. Иду к бару. Беру бутылку, наливаю чуть-чуть. Виски на дне стакана выглядит как тёмная лужа. Я не пью сразу. Мне нужно не забыться. Мне нужно решить. Ланской рядом с её студией — это сигнал. Он уже перестал играть со мной напрямую. Он пошёл в обход. Через людей. Через женщину, которую я ещё даже не подписал.

Я поднимаю стакан. Делаю маленький глоток. Торф остаётся на языке, как пепел.

— Она не знает, во что вляпалась, — говорю я в пустой комнате.

И в этот момент понимаю: это не «она». Это «мы». Потому что если Ланской доберётся до неё, он доберётся до меня. Смешно. Нет. Предсказуемо. Я ставлю стакан. Беру телефон. Экран гаснет и тут же снова загорается — сообщение от СБ: «Оплата запущена. Будет закрыто в течение часа. Следов на вас не оставим.» Я смотрю на строку. Чувствую, как внутри становится спокойнее. На один уровень. Контроль возвращается.

Но вместе с ним приходит другое: неприятное понимание, что я только что сделал шаг в сторону, где отступать уже будет сложно. Анонимная оплата — это не только помощь. Это фиксация. Это нитка. Нитки держат, пока их не режут. Вопрос: кто первым возьмёт ножницы? Ночь приходит незаметно. В пентхаусе темнота мягкая, но не уютная. Скорее — экономная. Лампы дают узкий свет, как будто даже свету здесь не разрешают быть лишним.

Я лежу не в постели — на диване в кабинете. Это привычка, не проблема. Когда голова работает, тело не имеет права на комфорт. Телефон лежит рядом. Экран тёмный. В комнате слышно, как дождь наконец стихает. Ветер всё ещё есть, но он уже не бьёт, а гладит стекло. Я закрываю глаза. На секунду. И тут же открываю. Сон — это уязвимость. А у меня сейчас слишком много открытых линий.

Я беру телефон. Экран вспыхивает в темноте, режет глаза белым прямоугольником. На мгновение кажется, что в комнате появился второй свет — холодный, безжалостный. Я открываю диалог. Новый. Номер, который дала ассистентка. Или тот, что оставила Соколова в анкете. Всё равно. Пальцы висают над клавиатурой. Что я могу ей написать? «Я оплатил вашу бабушку» — нельзя. Это вызовет вопросы. Это вызовет ярость. Она не из тех, кто благодарит за повод чувствовать себя должной.

«Завтра приедет машина» — слишком рано. Она ещё не сказала «да». Она только стояла напротив меня и слушала слово «контракт» так, будто я предложил ей клетку. Я печатаю. «Виктория. Завтра в 10:00 встреча. Машина заедет. Дресс-код — деловой. Документы у меня.» Стираю. Слишком приказ. Печатаю заново. «Виктория, добрый вечер. Нужно обсудить условия сотрудничества. Если вы согласны, завтра в 10:00. Адрес знаете.» Стираю.

Слишком мягко. Слишком «как все». Меня раздражает, что я вообще редактирую сообщение. Обычно я пишу один раз. Коротко. И это работает. С ней — не работает. Потому что она не подчиняется тону. Она подчиняется смыслу. Я смотрю на экран. Тёмная комната вокруг словно сжимается. Телефон светит в ладонь, высвечивает линии кожи. Чужая физика: я взрослый мужчина, который строит города, а сейчас завис на одной фразе. Это смешно.

Я печатаю третью версию. «Виктория. Нам нужен разговор. Завтра. Я пришлю машину. Артём.» И ставлю точку. Точка — это граница. Я нажимаю «отправить». Сообщение уходит. Экран на миг показывает статус — доставлено. И мне становится легче. Не потому что я хочу её ответа как человек. Потому что линия коммуникации открыта. А значит, процесс запущен. Я кладу телефон рядом. Экран гаснет, и темнота возвращается. Не мягкая. Рабочая.

Я закрываю глаза и позволяю себе одну мысль, ровно одну — не про любовь, не про чувство, не про нежность. Про игру. Ланской сделал ход, подсветив её. Я сделал ход, закрыв её базовый риск — бабушку. Дальше — условия. И реакция. Потому что самый опасный момент — не когда ты давишь. Самый опасный — когда человек соглашается. И начинает выбирать, где нарушить. Я смотрю в потолок. Слушаю, как где-то внизу живёт город. И понимаю: теперь всё будет быстрее. Грязнее. Ярче.

Игра началась, Виктория. Посмотрим, кто первым нарушит условия.

Глава 5. Условия капитуляции

Виктория

— Вы серьёзно думаете, что я сяду к вам в машину — и скажу «да»?

Слова вылетают жёстко, слишком громко для салона, который глушит всё: улицу, снег, сирены, мою собственную осторожность. Заднее сиденье бронированного «Майбаха» пахнет дорогой кожей и его парфюмом — сандал и металл, как будто кто-то смешал дерево с лезвием. Запах цепляется за горло, и я чувствую его даже на языке. Рокот двигателя глухой. Он отрезает город от нас, словно мы уже не люди, а капсула с двумя живыми проблемами внутри.

Артём сидит напротив, чуть наискось, чтобы видеть меня, не разворачивая корпус. Это не расслабленная поза. Это позиция. Он как будто всегда готов либо выйти, либо ударить словом. На коленях у него — синяя папка. Толстая. Гербовая бумага внутри шуршит, когда он двигает её пальцами. Шорох неприятный — как шелест денег, которые не твои.

— Я думаю, вы сядете, — отвечает он спокойно. — И вы уже сели.

— Это пока не «да».

— И я пока не просил.

У меня дергается уголок рта. Это могло бы быть смешно, если бы не было так... точно. Я держу спину прямо. Руки на коленях. Пальцы сами ищут кольцо на большом пальце, но я ловлю себя и прижимаю ладонь к ткани брюк. Не крутить. Не выдавать.

— Тогда зачем я здесь? — спрашиваю я.

Он слегка наклоняет голову, будто слушает не меня, а тон. Проверяет, где я сломаюсь: на злости или на страхе.

— Потому что вам нужен выход, — говорит он. — И потому что мне нужна жена.

Я делаю вдох. Воздух здесь тоже дорогой — отфильтрованный, сухой. Он не пахнет жизнью. Он пахнет системой.

— Я дизайнер, — говорю я. — Не актриса.

— Это одно и то же, — отвечает он. — Когда вокруг камеры.

Я сжимаю челюсть. Кости лица будто становятся твёрже.

— Я не собираюсь продаваться.

— Я и не предлагаю вам продажу.

— Тогда как вы это называете? — я киваю на синюю папку, и бумага в ответ снова шуршит. — Контракт?

— Контракт.

Слово падает между нами, как металлический шар. Тяжёлый. Окончательный. Я смотрю в окно. Там — размытый город, мокрый, серый, пятнистый. Люди спешат, машины ползут. Мир живёт, словно у него нет права на остановку. У меня тоже нет. Бабушка ждёт новостей. Даша ждёт, что я не облажаюсь. Студия ждёт оплаты аренды. А я сижу в машине у человека, которому «нужна жена».

— Почему я? — спрашиваю я.

Вот главный вопрос. Не «что вы хотите». А «почему именно я». Он смотрит прямо. Стальные глаза. Ни улыбки. Ни мягкости. Только расчёт, который не стесняется своего имени.

— Потому что вы не влюбитесь в меня через неделю, — отвечает он.

Я на секунду зависаю. В голове — пустота, как после громкого хлопка.

— Простите? — я не могу не переспросить. Это звучит как провокация.

— Вы не из тех, кто путает власть с привлекательностью, — говорит он. — Вы спорили со мной в моём кабинете. Вы не искали одобрения. Вы не пытались понравиться. Это редкость.

— Это критерий для брака? — я фыркаю, и в этом больше нервов, чем сарказма.

— Это критерий для выживания, — отвечает он. — Мне не нужна женщина, которая завтра начнёт требовать эмоций и будет рыдать в прессе.

Я вспоминаю больницу. Писк монитора. Мятные стены. Слова бабушки про смерть. И своё «я не плачу». Я вообще не плачу на публику. Я плачу внутри. И потом иду работать.

— А мне не нужен мужчина, который считает, что я — пункт в списке, — говорю я.

— Тогда не будьте пунктом. Будьте партнёром, — произносит он так, будто это простое решение. Как поменять плитку на фасаде.

Партнёр. Слово опасное. Оно даёт иллюзию равенства. А иллюзии — это то, на чём я обычно спотыкаюсь, потому что хочу верить.

— Какие у вас проблемы с имиджем? — спрашиваю я прямо. — Давайте без красивых слов.

Он чуть прищуривается. Не от раздражения. От интереса. Ему нравится прямота, потому что она упрощает контроль.

— Совет директоров. Инвесторы. Конкуренты. Им нужен «семейный человек», — говорит он. — Иначе они заблокируют проект.

— И вы решили, что я должна спасать ваши миллиарды?

— Я решил, что вы можете заработать на моих миллиардах, — отвечает он.

Я ощущаю, как в груди поднимается горячее. Не жадность. Возмущение.

— Я не...

— Подождите, — перебивает он спокойно. — Вы не слышали вторую часть.

Я молчу. И это не уступка. Это пауза. Я учусь паузам у бабушки — и ненавижу, что учусь у неё. Артём открывает синюю папку. Гербовая бумага шуршит громче, как будто сама напоминает: «Это серьёзно». Он достаёт планшет. Экран светится холодно.

— Сначала — почему вам это выгодно, — говорит он. — Потом — почему это нужно вам.

— Вы уверены, что знаете, что мне нужно? — я не удерживаюсь.

— Я знаю, что вас трогают, — отвечает он.

Я замираю. Трогают. Не «давят». Не «просят». А именно трогают, как трогают стекло пальцем — оставляя отпечаток.

— О чём вы? — голос у меня становится ниже.

Он не отвечает словами. Он просто поворачивает планшет ко мне. Фотографии. Моя студия. Моя дверь. Моя вывеска. Мой подъезд. И машина, которую я не замечала — серый кузов, неприметный. На одном снимке — мужчина в пальто, лицо смазано, но поза узнаваемая: уверенная, как у тех, кто думает, что мир — их коридор. У меня холодеют пальцы. Сразу. Как будто кондиционер ударил по костям.

— Кто это? — спрашиваю я, не отрывая взгляда от снимка.

Артём смотрит на экран, а не на меня.

— Игорь Ланской, — произносит он.

Слово «Ланской» режет, как металлический вкус. Я сглатываю.

— Зачем ему я? — я слышу собственную растерянность и злюсь на неё.

— Потому что вы — мой выбор, — говорит Артём. — Он будет искать подходы. Через вас. Через вашу бабушку. Через вашу студию.

Бабушка. Слово ударяет по ребрам. Я вспоминаю её руку, сухую, цепкую. Её «я умру». Её больницу. Её страх. И своё чувство вины, которое никогда не заканчивается. Я сжимаю ладонь в кулак так, что ногти впиваются в кожу. Больно. Хорошо. Боль возвращает в момент.

— Это шантаж? — спрашиваю я.

— Это предупреждение, — отвечает он. — И предложение защиты.

— За цену.

— За цену, — спокойно соглашается он.

Я смотрю на снимки ещё раз. Слишком долго. Слишком внимательно. Мой мозг уже рисует сценарии: «он подойдёт ко мне у входа», «он появится в кофейне», «он найдёт бабушку». Мне хочется выругаться. Мне хочется закрыть планшет и сделать вид, что этого нет. Но «нет» не работает в реальности. «Нет» работает только в сказках.

— Откуда у вас это? — спрашиваю я.

— У меня есть служба безопасности, — отвечает он. — У Ланского тоже. Разница в том, что мои работают на защиту.

— А ваши работают на контроль, — говорю я.

Он смотрит на меня. Впервые за разговор — прямо и с чем-то похожим на признание.

— Контроль — это форма защиты, — говорит он.

Мне хочется сказать: «для вас». Но я не говорю. Я понимаю: спорить о словах бессмысленно. Нужно спорить о пунктах. Я выпрямляюсь.

— Хорошо, — говорю я. — Я вижу риск. Но вы не получите моё «да» только потому, что мне страшно.

Его взгляд не меняется. Он как будто это ожидал.

— И правильно, — отвечает он. — Я не беру людей, которые соглашаются из паники.

— Тогда вы зачем показали это? — я киваю на планшет.

— Чтобы вы приняли решение, понимая ставку, — говорит он. — И чтобы вы не думали, что я просто «богатый мужчина, которому скучно».

Мне хочется рассмеяться. Потому что да, я думала именно так — где-то в глубине, где живёт цинизм. Я делаю вдох. Двигатель гудит. Машина едет ровно, словно нас уже везут по заранее проложенному маршруту. Как жизнь.

— Окей, — говорю я. — Допустим, я рассматриваю это как деловую сделку. Что вы хотите от меня конкретно?

Он кладёт планшет на сиденье. Синяя папка снова оказывается между нами. Как граница. Как символ: «доверия нет».

— Публичная роль. Срок — год, — говорит он. — Появления на мероприятиях, где нужна «идеальная пара». Минимум. Без театра. Просто присутствие.

— Год, — повторяю я и ловлю странное эхо: бабушка тоже дала мне год. Как будто меня загнали в одну и ту же цифру с двух сторон.

— И юридическая фиксация, — добавляет он.

— Брак? — слово выходит сухо.

— Брак, — подтверждает он.

Я смотрю на свои колени. На ткань брюк. На аккуратный шов. На мелочь, которая удерживает меня от паники.

— А что получаю я? — спрашиваю я.

— Финансовую компенсацию. Безопасность. И условия, которые вы впишете сами, — отвечает он.

— Я не верю в «впишете сами», — говорю я.

Он чуть наклоняется вперёд. Запах его парфюма становится ближе. Сандал, металл. И что-то ещё — холодная чистота, как после лезвия.

— Тогда проверьте, — говорит он.

Он достаёт из папки пачку гербовой бумаги и ручку. Ручка тяжёлая, дорогая. Я ненавижу дорогие ручки: они будто заставляют тебя подписывать то, что не хочешь.

— Я не буду ничего подписывать, пока не прочитаю, — говорю я.

— Конечно, — отвечает он. — Читайте.

Он протягивает мне документы. Я беру. Бумага плотная, шершавит подушечки пальцев. Шорох — как шёпот. Я перелистываю. И вижу: пункты о конфиденциальности, о публичных обязательствах, о разводе. Всё уже написано так, будто меня давно ждали. Это бесит.

— Это уже готово, — говорю я.

— Я не трачу время, — отвечает он.

— А я не трачу себя, — произношу я и смотрю на него прямо. — Поэтому слушайте мои условия.

Он не перебивает. Не улыбается. Просто ждёт, словно мы оба понимаем: сейчас начинается настоящая часть. Я достаю телефон. Не потому, что мне нужен интернет. Потому, что мне нужно опираться на что-то знакомое. Экран холодный. Пальцы дрожат, но я держу.

— Первое: отдельные спальни, — говорю я.

Он не моргает.

— Принято.

Слишком легко. Меня это настораживает.

— Второе: никакой слежки за моими звонками, — продолжаю я. — Никакого контроля переписок. Я не ваша собственность.

— Вы не моя собственность, — повторяет он, как формулировку.

— Пропишите это, — требую я.

Он берёт ручку, делает пометку. Чернила ложатся ровно, уверенно. Он пишет быстро. Будто уже знал, что я скажу.

— Третье: моя работа. Я не бросаю студию. Я не становлюсь «женой при вас». Я остаюсь дизайнером, — слова идут быстрее, потому что это больное. — И любые публичные мероприятия — согласуются заранее. У меня дедлайны. У меня команда.

Он поднимает взгляд.

— Мне нужна успешная жена, а не кукла, — говорит он. Фраза звучит слишком отточенно, будто он уже говорил её кому-то. Или хотя бы себе.

— Тогда не мешайте мне быть успешной, — отвечаю я.

Он снова пишет. Я чувствую, как внутри появляется странное облегчение: он не спорит по мелочам. Значит, либо ему всё равно, либо он уже просчитал, что мне надо дать, чтобы я подписала. И это снова бесит.

— Четвёртое, — я делаю паузу. — Бабушка.

Его пальцы замирают над бумагой.

— Что с бабушкой? — спрашивает он.

Я сглатываю. Ненавижу, что эта тема делает меня слабее.

— Вы не используете её как рычаг, — говорю я. — Вы не вмешиваетесь. Вы не... покупаете её благосклонность. Это моя семья.

Он смотрит на меня секунду дольше. И в его взгляде появляется что-то, от чего у меня снова холодеют пальцы. Не угрозой. Знанием.

— Вы уже вмешались, — говорю я тихо. — Да?

Тишина в машине становится плотной. Рокот двигателя будто усиливается, хотя он тот же. Просто я слышу его теперь иначе — как фон для разговора, который может сломать мне гордость. Артём не отводит глаз.

— Я оплатил счёт, — говорит он.

Я не сразу понимаю.

— Какой счёт? — выдыхаю я.

— Вашей бабушки, — отвечает он. — В клинике.

Мир на миг уходит из-под ног. Не как падение. Как провал. Небольшой. Но достаточно, чтобы внутренности сжались.

— Зачем? — спрашиваю я, и голос у меня становится тоньше. Злюсь на это. — Я вас не просила.

— Я знаю, — отвечает он. — Я сделал это, потому что не хочу, чтобы вы принимали решение под давлением больницы и денег. И потому что Ланской слишком близко. Ваша бабушка — слабое место.

Слабое место. Я чувствую, как по спине идёт горячее. Не слёзы. Гнев.

— Вы решили, что можете просто... закрыть мой счёт — и я стану вам должна? — произношу я.

Он молчит секунду. Потом наклоняется и вытаскивает из папки лист — копию оплаты. Там всё обезличено, но сумма читается. И мне становится физически плохо от этой цифры: она как бетонная плита на груди. Я не беру лист. Я смотрю.

— Я не хочу, чтобы вы были мне должны, — говорит он. — Поэтому это будет оформлено как часть сделки. Компенсация. Гонорар. Назовите как хотите.

— Вы думаете, проблема в названии? — я почти шепчу, потому что если скажу громче, сорвусь. — Проблема в том, что вы сделали это без моего согласия.

— Согласие — это роскошь, когда времени нет, — отвечает он.

И вот тут я хочу ударить его. Не рукой. Словами. Профессионально. Точно.

— Время есть, — говорю я. — И если вы хотите, чтобы я была партнёром, а не куклой, вы будете спрашивать.

Он смотрит на меня внимательно. И впервые кажется, что он... слышит не только смысл, но и границу.

— Хорошо, — говорит он. Одно слово. И от этого мне становится странно легче. — Дальше всё — по согласованию.

Я выдыхаю. Медленно. Воздух сушит горло. Кольцо на большом пальце наконец находит пальцы — я всё-таки его кручу. Один оборот. Быстрый. Почти невидимый. И ловлю себя на этом, как на признании. Я отвожу руку. Кольцо остаётся на месте, как напоминание: я сейчас на грани лжи. Лжи себе. Потому что правда простая: я испытываю облегчение. Огромное. Тяжёлое. Словно кто-то снял с меня рюкзак с камнями. И вместе с этим облегчением — стыд. Потому что я не должна радоваться тому, что меня «спасли» чужими деньгами.

Я ненавижу этот конфликт. Хочу. Боюсь. Нельзя.

— Пятое, — говорю я, возвращаясь к бумаге. — Условия развода. Если всё пойдёт не так, я уйду быстро. Без публичного унижения. Без «она меня бросила». Без грязи.

— Пропишем, — отвечает он.

— Уже прописано, — я киваю на документ. — Но я хочу правку.

— Какую?

Я смотрю в текст. Внутри меня поднимается та часть, которая умеет проектировать пространство так, чтобы человек не чувствовал себя в клетке.

— Никаких ограничений на мою свободу передвижения, — говорю я. — Да, вы можете обеспечивать безопасность. Но я не буду жить под охраной как под конвоем. И я не подпишу пункт, где вы «рекомендуете» мне адреса, а по факту — запрещаете.

— Это разумно, — отвечает он.

Слишком разумно. Слишком гладко. И это снова пугает: он как будто готов дать всё, лишь бы я подписала. Я откидываюсь на спинку. Кожа под пальто холодная. Я ощущаю её текстуру сквозь ткань — гладкая, плотная, дорогая. Как его жизнь. Как его правила.

— Теперь моя часть вопросов, — говорю я.

Он кивает.

— Почему вы вообще хотите это сделать? — спрашиваю я. — Не «совет», не «инвесторы». Вы. Лично.

Он смотрит в окно. На секунду. Потом возвращается взглядом ко мне.

— Потому что мне нужен контроль над хаосом, — говорит он.

Честно. Без красивостей. И от этого меня пробирает сильнее, чем если бы он начал говорить про «судьбу».

— И вы думаете, брак — это контроль? — спрашиваю я.

— Брак — это инструмент, — отвечает он. — Инструмент можно использовать правильно. Или сломать им пальцы.

Я сглатываю.

— И вы уверены, что не сломаете? — вопрос выходит слишком личным, и я злюсь на себя за это.

— Я уверен, что не буду ломать вас специально, — говорит он. — Но я не буду притворяться мягким.

Я смотрю на него. И понимаю: он не играет в принца. Он предлагает контракт с человеком, который привык выигрывать. И если я войду в это, то выйду другой. Бабушка хотела «как у людей». А мне предлагают «как у акционеров». И я вдруг ясно вижу: я всё равно буду лгать. Лгать бабушке. Лгать прессе. Лгать миру. Вопрос только — кто будет писать условия этой лжи.

Он? Или я вместе с ним? Я выпрямляюсь.

— Хорошо, — говорю я. — Компенсация. Вы сказали: деньги, безопасность, условия. Но мне нужна конкретика.

Артём вытаскивает из папки ещё один документ. И кладёт мне на колени. Шорох бумаги. Плотной. Гербовой. Я опускаю взгляд. Договор аренды. Студия. В центре. Большая. Сумма... такая, что у меня на секунду темнеет в глазах.

— Это что? — спрашиваю я, хотя понимаю.

— Это ваш гонорар, — говорит он. — Мне нужна успешная жена, а не кукла.

Та же фраза. Но сейчас она бьёт иначе.

— Вы... уже всё оформили? — я провожу пальцем по строчкам. Подписи собственника и его компании уже стоят. Моей — нет.

— Да, — отвечает он.

У меня в груди вспыхивает одновременно две эмоции: облегчение — потому что студия больше не висит камнем; и ярость — потому что опять без моего согласия.

— Вы понимаете, как это выглядит? — я поднимаю глаза. — Как покупка.

— Тогда не берите, — говорит он.

И вот это — впервые — звучит не как манипуляция. Он реально готов, чтобы я отказалась. Или он хорошо играет. Я держу договор. Бумага под пальцами будто живая. Я вспоминаю команду. Наши ночи. Дашины «мы вытянем». Наши счета. Я вспоминаю бабушку в палате — подкрашенные губы и её страх одиночества. Я вспоминаю фотографии у студии. И понимаю: я уже в этом. Я просто ещё не признала.

Я медленно достаю ручку, которую он положил рядом. Тяжёлая. Холодная.

— Я не подпишу, пока не внесу пункты, — говорю я.

— Вносите, — отвечает он.

Сцена вдруг становится почти абсурдной: я сижу в «Майбахе», как в маленьком переговорном, и пишу условия брака на коленях, будто это обычная сделка по дизайну. Только ставка — моя жизнь. Я вписываю: отдельные спальни. Запрет на контроль переписок. График публичных мероприятий — по согласованию. Право на работу. Публичное уважение. Быстрый выход при нарушении конфиденциальности. Фиксация: его анонимная оплата лечения — часть гонорара, без обязательств с моей стороны.

Рука чуть дрожит. Не от страха. От того, что я понимаю: я превращаюсь в человека, который может договариваться о своей свободе на бумаге.

— Всё? — спрашивает он, когда я останавливаюсь.

— Не всё, — отвечаю я. — Я хочу пункт о том, что вы не используете мою бабушку в ваших играх.

— Это уже вне контракта, — говорит он. — Но я согласен.

— Я хочу это на бумаге.

Он смотрит на меня. Секунда. Две. Потом берет ручку из моих пальцев — осторожно, не касаясь лишнего. И пишет сам. Быстро. Ровно.

— Удовлетворены? — спрашивает он.

— Почти, — отвечаю я.

Я читаю то, что он написал. Сухо. Юридически. Но есть смысл: «не вмешиваться», «не использовать», «не контактировать без согласия». И у меня внутри щёлкает что-то похожее на «ладно». Я закрываю глаза на миг. «Это сделка с дьяволом, но дьявол предлагает мне крылья», — вспыхивает мысль. Я ненавижу пафос. Но внутри именно так: мне предлагают свободу ценой зависимости. Парадокс. Я открываю глаза.

— Хорошо, — говорю я.

И подписываю. Размашисто. На коленях. Чернила ложатся на гербовую бумагу, как шрам. Подпись — это не романтика. Это факт. Внутри у меня одновременно страх и азарт. И странное облегчение — будто я наконец перестала делать вид, что могу всё одна. Артём забирает документ. Аккуратно. И возвращает его в синюю папку. Потом папка захлопывается. Глухой звук. Точка. Печать. Приговор и спасение в одном ударе.

Я вздрагиваю внутри. Но не снаружи.

— Поздравляю, — говорит он ровно. — Вы только что вступили в сделку, из которой нельзя выйти без последствий.

— Спасибо, — отвечаю я сухо. — Вы тоже.

Он смотрит на меня, и во взгляде появляется что-то, чему я не нахожу названия. Не нежность и не победа — скорее молчаливое понимание, что теперь всё изменилось. Машина продолжает ехать. Рокот двигателя глухой, успокаивающий, как белый шум. Я держу руки на коленях. Кольцо на большом пальце холодное. И вдруг понимаю: я перестала его крутить.

— Что дальше? — спрашиваю я.

— Дальше — протокол, — отвечает он. — Мы будем жить так, чтобы никто не сомневался.

— А если я усомнюсь? — вырывается у меня.

Он не отвечает сразу. Просто тянется и берет мою руку. Не нежно. Не ласково. Словно ставит подпись на моей коже. Его ладонь тёплая. Пальцы сильные. И от этого прикосновения по мне проходит ток — не сексуальный, а... осознание: теперь я реально связана. Я смотрю на наши руки. На то, как моя кожа выглядит на фоне его. И в голове вспыхивает вопрос, который я не собиралась задавать. Но он уже на языке. Он уже на границе, где я обычно молчу — и потом жалею.

Я поднимаю взгляд.

— А если я влюблюсь? — спрашиваю я с вызовом, чтобы не было видно страха.

Артём смотрит вперёд, не на меня. Для него это звучит почти как очередной пункт договора.

— Впишите это в раздел «Форс-мажор», — не глядя на меня, отвечает он.

Глава 6. Протокол подготовки

Артём

— Плечи расправьте, Виктория. И улыбка. Чуть теплее. Вы же... невеста.

Слово «невеста» произносится так, будто это должность. Я стою у входа в примерочную и слушаю, как чужая женщина учит мою будущую «картинку» правильной мимике. В ателье пахнет мелом и раскалённым утюгом — запах работы, а не праздника. И всё равно здесь пытаются сделать из человека открытку. Шелк шуршит. Тяжёлый, дорогой. И на этом шелке сейчас держится больше, чем прилично.

Виктория выходит из-за ширмы. Платье-футляр сидит... как надо по мнению стилиста. На практике — оно сидит как клетка. Колючий шелк по коже — я вижу это даже без слов: у неё на шее выступает тонкая полоска напряжения, словно ткань не просто касается, а требует. Она не жалуется. Не делает сцен. Просто крутит кольцо на большом пальце. Быстро. Почти незаметно. Я запоминаю.

— Мне тесно, — говорит она наконец, и голос ровный, но в нём слышно: «я сейчас сломаюсь или укушу».

Стилист улыбается так, как улыбаются людям, которых уже записали в категорию «надо воспитать».

— Тесно — это хорошо. Это дисциплина. Мужчины любят, когда женщина собрана. А у вас, Артём Сергеевич, репутация... — она многозначительно поднимает брови, — вам нужна жена, которая будет соответствовать.

«Соответствовать». Слово из тех, которые я ненавижу за то, что они всегда про чужую власть. Виктория снова крутит кольцо. И на секунду кусает губу — не кокетство. Сдерживает раздражение. Я не должен критиковать её фигуру. И я не собираюсь. Проблема не в ней. Проблема в том, что кто-то считает её фигурой.

— Снимите, — говорю я.

Стилист зависает.

— Простите?

— Платье, — уточняю я, не повышая голоса. — Снимите. Это недоразумение.

Виктория резко поднимает глаза. В них вспыхивает короткое: не благодарность — проверка. «Он сейчас на моей стороне или он просто играет?» Я выдерживаю взгляд.

— Но это же дом моды... Это идеальная посадка, — стилист пытается удержать позицию. — Виктория просто не привыкла к высоким стандартам.

Вот оно. Давление. Социальное, красиво упакованное. «Ты из другого мира, девочка, сейчас мы тебя отмоем и переоденем.» Виктория напрягается так, что у неё белеют пальцы на кольце.

— Я привыкла к стандартам, — говорит она. — Я не привыкла, что меня упаковывают.

Слова точные. И неприятные для тех, кто живёт упаковкой. Я делаю шаг вперёд. Не к ней — к стилисту. И слышу, как в ателье звенит тишина: портниха перестаёт щёлкать булавками, кто-то сзади замирает.

— Ваши стандарты не подходят, — говорю я. — Мне не нужна кукла.

Стилист пытается улыбнуться.

— Артём Сергеевич, я отвечаю за образ...

— Вы отвечаете за ткань и силуэт, — отрезаю я. — За образ отвечаю я.

Я не повышаю голос. Не надо. Здесь все знают, как звучит приказ, когда он произнесён тихо.

— Виктория, — я поворачиваюсь к ней. — Снимайте это. И выберите то, в чём вы можете дышать.

Она замирает на миг. Кольцо перестаёт вращаться. Потом она уходит за ширму. Шелк шуршит, как если бы кто-то сбрасывал с себя чужую кожу. Стилист делает вид, что не унижен. Но я вижу: у него дрогнул подбородок. Уязвимость — это когда тебя ставят на место без крика.

— У нас есть протоколы для публичных персон, — тихо говорит он, пытаясь вернуть контроль. — Вы не можете позволить ей... самовыражение.

Я смотрю на него и думаю: «Вы путаете протокол с рабством». Но вслух говорю другое.

— Я могу позволить ей быть собой, — произношу я. — Потому что на церемонии она должна выглядеть как женщина, которую я выбрал. Не как женщина, которую мне навязали.

Стилист молчит. Я разворачиваюсь и иду в зону ожидания, пока в примерочной шелестит ткань и шепчутся портнихи. Шаги тонут в ковре. В воздухе всё тот же запах: мел, горячий уют, дорогая ткань. И иголки. Булавки в руках портнихи блестят как маленькие угрозы. Здесь всё про точность. Про миллиметры. Про то, как легко уколоть, если дернёшься. Виктория не дёргается. Она держится. Это неожиданно.

Зона ожидания устроена так, чтобы клиент расслабился. Зеркала по стенам. Кофе на низком столике. Мягкий свет. Слишком мягкий — будто тут всё время хотят убедить: «вам хорошо». Я вижу отражение себя в одном зеркале, потом в другом — и понимаю, что это тоже протокол. Контроль через отражения. Ты всегда видишь, как выглядишь. Я сажусь. Скрипов нет. Всё сделано так, чтобы звук не выдавал нервов.

В зеркале напротив я вижу движение за ширмой. Тени. Отрывистые силуэты. И снова — шелест тяжелого шелка, как дыхание. Слева от меня портниха что-то отмечает мелом на выкройке. Белые линии на тёмной ткани — как разметка на асфальте перед аварией. Красиво и тревожно. Я держу телефон на столе экраном вниз. Не потому что он мешает. Потому что он вибрирует слишком часто: СБ, юристы, пиарщики, охрана. Свадьба через неделю. В моём мире свадьба — это не церемония. Это проект.

Но проект почему-то пахнет женскими духами и меловой пылью. Я ловлю себя на этой мысли и отталкиваю её. «Не превращай в личное». Всё должно оставаться управляемым. Зеркало снова ловит отражение: Виктория выходит из примерочной уже в другом платье. Не футляр. Линия мягче, но не «милота». Строго. Уверенно. Она держит плечи так, как держат спину люди, которые привыкли отстаивать себя. И опять — кольцо на большом пальце.

Стилист, не сдаваясь, шепчет рядом:

— Вот. Вот это уже ближе. Видите, Виктория? Вы — идеальная женщина для такого мужчины. Вы должны выглядеть так, будто вы влюблены.

Фраза звучит наигранно. Пластмассово. Но она падает точно в цель: Виктория мгновенно начинает крутить кольцо быстрее. И... улыбается. Чуть-чуть. Правильно. Вежливо. Ложь. Не потому что она не может улыбаться. Потому что эта улыбка — не её. Это маска, которую натянули. Я смотрю на неё через зеркало и вдруг понимаю: она не сыграет «влюблённость» так, как хотят эти люди. Не из принципа. Из честности. Она будет играть роль по-своему — экономно, точно, без лишней мимики. И этим сорвёт всем их красивые сценарии.

Сначала это раздражает. Потом — становится ценным. Потому что фальшь считывается быстрее, чем правда. Я перевожу взгляд на её шею. Тонкую линию, как у статуи. Не «соблазнительную». Настоящую. Там сейчас видна жилка — она бьётся быстрее, чем должна. Она держится. Внутри — давление, снаружи — спокойствие. Я знаю этот навык. Он спасает. И я знаю цену. Она приходит ночью, когда всё стихает и остаётся только твой собственный пульс.

Виктория делает шаг к большому зеркалу. Смотрит на себя. Не любит. Оценивает. Как дизайнер оценивает объект: пропорции, посадка, свет.

— Нормально, — говорит она сухо.

Стилист пытается улыбнуться ещё шире:

— Нормально? Это роскошно. Это «она его спасла». Это — история любви!

Я поднимаюсь. Медленно.

— Хватит, — говорю я.

Стилист оборачивается, ловит мой голос.

— Артём Сергеевич, мы должны продать публике...

— Мы ничего не продаём, — отрезаю я. — Мы показываем факт.

Виктория на мгновение замирает. Кольцо перестаёт вращаться.

— Факт? — повторяет стилист, будто это ругательство.

— Факт, — подтверждаю я. — Она рядом со мной. Всё. Не нужно вам выдумывать «любовь», чтобы это работало.

Стилист открывает рот, чтобы возразить, но я не даю.

— Вы мешаете, — говорю я. — У вас хороший вкус. Но вы не чувствуете её.

Стилист бледнеет. И делает шаг назад. Вежливость у него остаётся. Власть — исчезает. Виктория смотрит на меня через зеркало. Долго. Тихо. Я не улыбаюсь. Не нужно. Мне важно другое: чтобы она поняла — я не позволю превращать её в товар. Не из альтруизма. Из стратегии. Товар ломается. Партнёр — работает.

— Идите, — говорю стилисту. — Мы закончим без вас.

Секунда.

— Но...

— Идите, — повторяю я.

Он уходит. Быстро. Уязвленно. Почти бесшумно. В воздухе остаётся тишина. И запах колючего шелка — он будто всё ещё висит в комнате, хотя платье уже другое. Виктория выдыхает. Впервые заметно. Как будто до этого держала воздух в лёгких, чтобы не дать себе слабину.

— Спасибо, — говорит она.

Слово простое. Не кокетство. Не пафос. И от этого оно звучит тяжелее.

— Не за что, — отвечаю я.

И добавляю, потому что это важно зафиксировать:

— Я не покупаю людей, Виктория. Мне нужна женщина, которая умеет выбирать.

Она слегка прищуривается.

— И вы мне позволяете выбирать?

— Я вам не «позволяю», — говорю я. — Я рассчитываю на это.

Она едва заметно кивает. Кольцо снова делает один оборот — но уже медленнее. Словно она успокаивается. Это маленькое наблюдение неожиданно цепляет. Слишком человеческое. Слишком точное. Я ловлю себя на мысли: «я запоминаю её нервные жесты». Зачем? Для контроля? Да. Для безопасности? Возможно. Для... чего-то ещё? Нет. Не туда. Я возвращаю внимание к задаче.

— Давайте выбирать ткани, — говорю я.

Стол с образцами тканей выглядит как палитра: десятки оттенков белого, молочного, серого, шампанского. Пальцы портнихи перебирают их, как клавиши. Шёлк шуршит, атлас холодно поблёскивает. Из подсобки тянет горячим уютом — здесь уже гладят чью-то будущую жизнь. Виктория подходит к столу первой. Не спрашивает. Не ждёт приглашения. Берёт кусок атласа, проводит по нему подушечками пальцев. Атлас холодный, как вода в бассейне ранним утром. Она не вздрагивает. Её лицо спокойное.

— Этот, — говорит она. — Он держит форму. И свет на нём не будет кричать.

Портниха кивает, явно уважая тон: профессиональный.

— А этот? — я беру другой образец. Теплее на ощупь, мягче. Слишком мягкий.

Виктория смотрит на него и качает головой.

— Он покажет каждую складку, — говорит она. — На фото это будет выглядеть как неряшливость.

Я киваю. Не потому что согласен по умолчанию. Потому что она права. Она двигает ткани, как шахматные фигуры: вот это — в свет, это — под вспышки, это — под зал. Я наблю-

даю. И понимаю: ей не нужно «соответствовать». Ей нужно, чтобы работало. Это редкость. Портниха приносит ещё рулон. Шелк тяжелее, плотнее, с едва заметной текстурой.

— Попробуйте, — предлагает она, протягивая край.

Виктория берёт. Атлас касается её кожи у запястья, и я вижу, как у неё слегка поднимаются волоски от холода. Она не комментирует. Просто оценивает. Мне приходит странное ощущение: если бы ей дали свободу, она могла бы сделать из этой подготовки не унижение, а проект. И тогда она не будет «женой миллиардера». Она будет собой — рядом со мной. И это, как ни парадоксально, даст нам лучшую легенду.

Потому что легенда, построенная на правде, прочнее.

— Вы хорошо чувствуете пропорции, — говорю я, не думая.

Слова выходят сами. Не флирт — просто честная оценка её работы. Виктория поднимает взгляд. На секунду в глазах мелькает удивление — не ожидала. Потом она прячет его.

— Это моя работа, — отвечает она.

— Я знаю, — говорю я. — И это ценнее, чем «идеальная улыбка» для камеры.

Она чуть-чуть улыбается. Уже по-настоящему. Без кольца. Без маски. Я отмечаю и это. Портниха наклоняется к Виктории, прикладывает ткань к плечу, фиксирует булавкой. Булавка блестит опасно. Виктория не дергается. Только смотрит на меня, будто спрашивает: «Ну? Вы теперь тоже будете говорить, как мне правильно?»

— Оставим ваш вариант, Виктория, — говорю я. — У вас безупречное чувство пропорций.

Портниха кивает. В её лице появляется уважение. Стилист бы назвал это «победой женщины». Я называю это «правильным решением». Виктория опускает взгляд на ткань. Проводит пальцем по холодному атласу. И снова — кольцо. Один оборот. Медленный. Почти нежный.

— Вы ведь понимаете, что это всё не про платье? — вдруг спрашивает она тихо.

Я смотрю на неё.

— Понимаю, — отвечаю я.

«Это про то, кто кого ломает». Про то, кто уступит. Про то, кто начнет играть не по правилам. Про то, кто впервые почувствует, что контроль — не спасает. Я этого не говорю.

— Тогда зачем вы защищали меня от стилиста? — она поднимает голову. — Это же проще — заставить меня надеть то, что «как надо».

Вопрос прямой. Опасный. Потому что в нём есть ожидание человеческого ответа. Я выбираю честность в той дозе, в которой она мне безопасна.

— Потому что на церемонии вы должны выглядеть как женщина, которую я выбрал, а не которую купил. Разница — в деталях.

Через два часа мы уже в переговорной юридического блока. Здесь нет зеркал и шелка — только серый стол, вода в стеклянных бутылках и два одинаковых экземпляра договора. Юристы перенесли в чистовик всё, что Виктория дописала от руки в машине: отдельные спальни, её работа, запрет на контроль переписки, согласование публичных выходов, право расторгнуть соглашение при нарушении конфиденциальности. Даже пункт о Нине Петровне стоит там сухой юридической строкой.

— Это тот же договор? — спрашивает Виктория, пролистывая страницы.

— Тот же, — отвечает юрист. — Мы только привели ваши правки к форме, которую можно исполнять. Рукописный экземпляр останется приложением.

Она кивает, но не берёт ручку. На стене над экраном горит маленький красный индикатор. Ассистент замечает её взгляд.

— Аудиопротокол включён. Стандарт для сделок этого уровня. Запись хранится во внутреннем архиве с ограниченным доступом. Можем отключить, если стороны возражают.

Виктория смотрит на меня. Я мог бы отключить. Наверное, должен был. Но после недели, в которой каждый вокруг меня пытался оставить себе запасной выход, запись кажется ещё одной гарантией: никто потом не перепишет сказанное.

— Оставьте, — говорю я. — У нас не должно быть двух версий договорённостей.

— Согласна, — отвечает Виктория после короткой паузы.

Юрист начинает читать ключевые пункты вслух. Формулировки звучат мёртво: срок, конфиденциальность, компенсация, порядок расторжения. Но рядом со мной сидит живой человек, который на каждом втором абзаце задаёт вопрос и ни разу не извиняется за это. На пункте о публичном поведении она поднимает ладонь.

— Что значит «демонстрация устойчивых супружеских отношений»?

Юрист переводит взгляд на меня. Правильно. Эту мину заложил я.

— Значит, мы не опровергаем брак собственным поведением, — отвечаю я. — Появляемся вместе там, где это необходимо. Не устраиваем публичных скандалов. Не даём прессе повода считать сделку фикцией.

— А изображать влюблённых обязаны?

Вопрос звучит почти лениво, но кольцо на её большом пальце уже делает оборот.

— Нет.

— Точно?

Я смотрю на неё и выбираю самый безопасный ответ. Самый холодный.

— Мне нужна жена для тендера, Соколова, а не любовь.

В комнате становится тихо. Красный индикатор продолжает гореть. Виктория перестаёт крутить кольцо.

— Прекрасно, — говорит она. — Тогда так и запишем: никаких требований изображать чувства вне согласованных публичных ситуаций.

Юрист печатает поправку. Я добавляю, уже ей, а не ему:

— Это просто бизнес.

Она смотрит прямо. В её лице ничего не меняется, и только пальцы ложатся на край бумаги чуть жёстче.

— Тогда не путайте бизнес с правом распоряжаться мной.

— Не буду.

— На словах вы сегодня щедрый.

Я почти улыбаюсь.

— Поэтому у нас и есть бумага.

Она читает последнюю страницу ещё раз. Медленно. Не из недоверия к буквам — ко мне. Потом берёт ручку. Мы подписываем оба экземпляра. На этот раз не на коленях в машине, а под глазами юристов, с датой, приложениями и её собственными условиями в тексте. Когда моя подпись ложится рядом с её, я вдруг замечаю, насколько близко стоят фамилии. Воронов. Соколова.

Пока только на бумаге. Юрист собирает экземпляры, ассистент нажимает кнопку на панели. Красная точка гаснет.

— Копии уйдут вам обоим сегодня, — говорит он.

Виктория встаёт первой.

— Значит, через неделю играем счастливых молодожёнов?

— Играем убедительно, — отвечаю я.

Она поправляет ремень сумки.

— Не перепутайте убедительность с правдой, Артём Сергеевич.

Дверь за ней закрывается. Я остаюсь на несколько секунд один и смотрю на погасший индикатор записи. Потом возвращаюсь к телефону, тендеру, безопасности — ко всему, что умею контролировать. К красной точке я больше не возвращаюсь.

Глава 7. Белое на белом

Виктория

Неделя между примеркой и церемонией исчезла в звонках, подписях и репетициях чужой семейной легенды. И вот теперь отступить уже некуда.

— Дыши. Просто дыши, — Даша шлёпает меня по запястью ладонью, как будто я не в платье, а в бронежилете. — Подними подбородок. Ещё. Вот так.

Фата щекочет затылок, невесомая и предательски липкая там, где лак держит прядь. От неё пахнет чем-то нейтральным — тканью, новым магазином, чужой жизнью. Платье тяжёлое. Белое на белом. Я смотрю на себя в зеркало и не узнаю человека, который собирается выйти в зал. Вроде всё знакомо — мои глаза, моя линия губ, моя привычка держаться, — но в этом белом я словно светлее, чем имею право.

— Я не дышу, я считаю секунды, — отвечаю я.

Даша криво улыбается, подтягивает фату, закрепляет невидимую шпильку — её пальцы быстрые, точные, как у хирурга. Я чувствую укол — не булавкой, а мыслью: сейчас будет больно.

— Ты в беде, Вик, — говорит Даша и смотрит на меня так, будто хочет спрятать. — Он на тебя ТАК смотрит.

Я моргаю. Раз. Два.

— Не надо.

— Надо, — отрезает она. — Я знаю, как такие мужчины смотрят на тех, кого увольняют, и на тех, кого пытаются купить. А на тебя он смотрит иначе. И это хуже, потому что тебя он... выбирает. Понимаешь?

«Выбирает». Слово, которое в моём мире должно быть красивым, а звучит как приговор. Я слышу за дверью приглушённый шум — голоса, шаги, кто-то смеётся. У галереи своя акустика: звук гасится стенами и картинами, будто искусство имеет право на тишину, а люди — нет.

— Я не влюбляюсь в людей от взгляда, — говорю я.

Даша подаётся ближе и, не глядя на фату, поправляет мне прядь у виска.

— Ты не влюбляешься. Ты сопротивляешься. А у тебя это всегда заканчивается тем, что ты берёшь ответственность за того, кто тебя пугает.

Я хочу огрызнуться. Я хочу сказать: «не лезь». Но у меня во рту сухо. Не от страха — от той пустоты, которая появляется перед прыжком.

— Я беру ответственность за бабушку, — тихо говорю я.

— И вот поэтому ты здесь, — Даша смотрит на меня почти нежно. — Ради неё, да. Но, Вик... не дай им сделать из тебя открытку.

Я слатаваю. В горле будто стоит плотный ком. Я не плачу. Я вообще редко плачу. Но сейчас слёзы где-то рядом — не на глазах, а в груди, где всё стягивает. Пальцы сами тянутся к кольцу на большом пальце. Мой якорь. Мой маркер. Я делаю один оборот — и тут же отдёргиваю руку, как будто обожглась. Не сейчас. Сегодня мне нельзя выдавать, что я вру.

Я слышу, как открывается дверь. Даша вздрагивает первой. Потом выпрямляется, становится деловой.

— Они готовы, — говорит кто-то снаружи. Голос чужой, нейтральный.

Я смотрю на Дашу. Она резко сжимает мне ладонь.

— Помни: ты не товар, — шепчет она. — Если что — смотри на меня.

— Ты будешь рядом?

— На расстоянии вспышки, — усмехается Даша и отпускает. — И на расстоянии твоего терпения.

Я делаю шаг к двери. Платье шуршит. Белое о белое. И я понимаю: всё. Назад — нет. Частная галерея встречает меня запахом гортензий — тяжёлым, слишком сладким, будто помещение залили сахарным сиропом, чтобы никто не чувствовал паники. Цветы стоят в высоких вазах вдоль прохода, белые шапки сливаются с белыми стенами. От этой стерильности всё внутри напрягается. Слишком много белого; реальность теряет контуры.

Свет в зале мягкий, но от камер он превращается в нож. Вспышки слепят. Вспышки режут. Я делаю шаг — и на миг ослепляю себя, словно кто-то выстрелил в глаза. Щёлк. Щёлк. Щёлк. Я держу спину. Плечи. Подбородок. Я знаю, как стоять, когда тебя рассматривают. Я умею. Я же всю жизнь стою так: «со мной всё нормально». И только кольцо на большом пальце иногда выдаёт, что внутри — не нормально.

Артём ждёт у входа в зал регистрации. В чёрном, конечно. В его мире всегда чёрное и сталь. Он выглядит так, будто пришёл подписывать сделку с государством, а не... это. Он поворачивает голову, когда я приближаюсь. И я ловлю его взгляд. Даша была права. Он смотрит так, будто я — не случайность. Не функция. Не «подходящий вариант». Будто я — решение, которое он принял и теперь защищает. От кого?

От меня самой. Меня пробивает дрожью. Тонкой, невидимой. Я стискиваю пальцы, чтобы не выдать. Он делает шаг навстречу. Мало. Но этого хватает, чтобы запах его парфюма накрыл меня — сандал и металл, знакомая смесь. Мне хочется вдохнуть глубже, потому что это... стабилизирует. И тут же хочется оттолкнуть, потому что это слишком быстро становится привычкой.

— Вы готовы? — спрашивает он тихо.

Вопрос звучит формально. Но в нём есть пауза, которая говорит другое: «ты выдержишь?»

— Я здесь, — отвечаю я.

Он смотрит на меня секунду. Потом — не берёт за руку. Не тянет. Просто поворачивается и предлагает локоть, как на старых фотографиях. Слишком вежливо для такого человека. И это... уважение. Я не беру сразу. Я делаю вид, что поправляю перчатку — хотя на мне их нет. Я выигрываю полсекунды. Для себя. Чтобы не чувствовать, что меня ведут. И только потом кладу ладонь на его локоть.

Моя рука тёплая. Его ткань холодная, гладкая. Через неё чувствуется напряжение мышц — он собран, как перед пресс-конференцией. Мы делаем шаг вместе. Вспышки сразу становятся ближе. Камеры ловят нас, как добычу.

— Сюда! Посмотрите сюда! Улыбнитесь! — голоса липнут к коже, как сладкий запах гортензий.

Артём делает то, что от него ждут: улыбается ровно настолько, чтобы это было похоже на уверенность. Ни грамма больше. Я улыбаюсь тоже. Не широко. Так, чтобы губы не дрожали. И вдруг вижу в толпе знакомую фигуру. Не лицо. Фигура. Поза. Игорь Ланской. Он стоит чуть в стороне и изображает случайного гостя. Но взгляд у него слишком внимательный, слишком направленный. Он смотрит не на Артёма. На меня.

У меня внутри проваливается пол. Не красиво. Не драматично. Физически: желудок сжимается, пальцы холодеют. «Он будет искать подходы. Через вас». Фраза Артёма из машины всплывает так ясно, как будто он сказал её сейчас. Я делаю вдох. Сладость гортензий лезет в горло. Тошнит.

— Не смотри туда, — шепчет Артём почти без движения губ.

Я не смотрю. Но я знаю, что он там. Я знаю, что эта свадьба — не только для бабушки. Не только для инвесторов. Она ещё и поле боя. Я просто пока не умею стрелять. Регистратор говорит ровным голосом. В галерее этот голос звучит странно — будто слова о браке должны быть тёплыми, а они тут холодные, как витрина. Я стою напротив Артёма, и между нами —

воздух, который наэлектризован камерами. Я чувствую это физически: кожа на предплечьях будто тоньше, чем обычно.

В первом ряду бабушка. Нина Петровна. В светлом костюме, с идеальной укладкой. С подкрашенными губами — как тогда, в больнице. Я вижу эту деталь и понимаю, почему мне так больно: она всегда старается выглядеть сильной. Даже когда не может. Её глаза блестят. Она держит платок в руках — не прячет, не стесняется. И когда регистратор произносит слова про «союз», бабушка начинает плакать.

Сразу. Не тихо. Не украдкой. Счастливо. И мне в грудь врезается такая вина, что хочется согнуться. Я не имею права разрушить ей этот момент. Не сегодня. Пальцы дрожат. Сначала едва заметно, потом сильнее. Я чувствую, как они ищут кольцо на большом пальце. Я почти начинаю крутить — привычка, спасательный круг. И останавливаю себя в последнюю секунду. Не сейчас. Я слышу внутри: «Я делаю это ради неё, это всего лишь игра».

И это почти правда. Почти.

— Обмен кольцами, — говорит регистратор.

Кольца лежат на подушечке. Белое на белом. Металл на ткани. Как маленькая точка, которая решит всё. Артём берёт кольцо первым. Его пальцы уверенные, как всегда. Он не торопится. Не играет в нежность. Но и не холоден. Он тянется ко мне. И в этот момент я понимаю, что сейчас мне дадут сценарий: «подай руку, улыбнись, посмотри в глаза, замри на два кадра».

Я могу сделать так, как надо. И могу сделать так, как выберу. Артём не хватает меня. Он ждёт. Ждёт мой жест. Секунда. Вторая. Флэш в глаза. Ещё один. Ещё. Сердце бьётся где-то в горле. Я делаю шаг вперёд и первая беру его за руку. Уверенно. Я переплетаю пальцы, как будто это — мой выбор, а не требование протокола. Его кожа тёплая. Теплее, чем я ожидала. И это тепло ударяет по мне током, потому что я вдруг понимаю: он живой. Не только власть, не только деньги, не только контроль. Живой мужчина.

А он сжимает мою ладонь сильнее, чем требует протокол. Не больно. Но так, что я чувствую: он увидел. Он понял, что я не «сдаюсь». Я делаю шаг на своих условиях. Он надевает кольцо мне на палец. Металл холодный на секунду, потом быстро нагревается от кожи. И я ощущаю это нагревание как что-то слишком интимное для публичного зала. Теперь моя очередь.

Я беру кольцо для него. Оно тяжелее, чем кажется. Наверное, потому что в нём слишком много смыслов, которые мне не нужны. Я поднимаю его руку. Я чувствую под пальцами плотность кожи, линии, тёплую пульсацию. И почему-то именно это — пульс — выбивает меня сильнее всего. Я надеваю кольцо ему. Медленно. Камеры щёлкают, как зубы. Бабушка всхлипывает в первом ряду и улыбается сквозь слёзы.

Даша где-то сбоку, я чувствую её присутствие даже без взгляда. Как страховочную сетку.

— Объявляю вас мужем и женой, — говорит регистратор.

Слова падают. И мир вокруг на миг становится слишком ярким. Слишком громким. Слишком настоящим. Потом начинается то, что должно быть «красиво». Поздравления. Шампанское. Руки. Щёки. Вспышки. Мне протягивают бокал. Стекло холодное. Я делаю глоток — шампанское ледяное на языке, почти больно. Оно пузырится, словно смеётся надо мной. Я ненавижу шампанское. Оно всегда про чужой праздник. Я держу улыбку. Я держу спину.

Артём рядом. Он двигается так, будто контролирует пространство: чуть поворачивает корпус — и закрывает меня от особенно навязчивой камеры. Чуть наклоняется — и люди отступают, потому что его личная граница ощущается физически.

— Поцелуй! — кричит кто-то.

Я внутренне вздрагиваю. Вот оно. Классика. Самое дешёвое требование. Артём не делает шаг ко мне. Он смотрит на меня. Вопрос в глазах: «как ты хочешь?» Он ждёт. Не тянет меня к себе ради камер, не подсказывает, что я должна сделать. Впервые рядом с ним у меня оста-

ётся право самой выбрать расстояние. Я делаю вдох. Сладкий запах гортензий снова давит на голову.

— Нет, — говорю я достаточно громко, чтобы услышали ближайшие. И улыбаюсь. — Не сейчас.

Толпа на секунду зависает, словно у всех одновременно отключили звук. Потом кто-то смеётся, кто-то хлопает. «О, какая интрига». «О, какая недоступность». Они переводят это в игру, потому что так проще, чем признать: женщина сказала «нет» публично. Артём не спорит. Не делает вид, что я его унизила. Он просто поднимает мою руку и прижимает к своим губам — быстро, почти формально.

Но его губы тёплые. И от этого жеста у меня внутри всё сжимается. Камеры довольны. Публика получает «романтику». А я — остаюсь в границе. Пока. В толпе я снова чувствую взгляд Ланского. Не вижу. Чувствую кожей, как ощущают солнце за спиной. Он где-то там, улыбается, вероятно, кому-то из гостей. И смотрит, как я держусь. Я делаю ещё глоток шампанского. Холод бьёт в зубы.

— Устали? — тихо спрашивает Артём, наклоняясь ко мне.

— Я не умею уставать в кадре, — отвечаю я.

— Придётся научиться отдыхать без него, — говорит он.

Фраза звучит почти заботливо. И это опасно. Забота — это то, на что я веду быстрее всего. Мы проходим в небольшую зону за ширмой — там на миг тише, нет вспышек в лицо. Я выдыхаю. Артём делает шаг ближе. И «властно» обнимает меня — ровно так, как нужно для камеры, которая всё равно найдёт нас через плечо, через прорезь, через отражение.

Его ладонь на моей талии уверенная. Не шарит. Не ищет. Просто фиксирует. И в этом объятии я внезапно чувствую не сцену, а реальность: мужчина, чужое тепло, моё дыхание, ткань платья между нами, слишком дорогая, чтобы быть простой. Он наклоняется, словно собирается прошептать что-то ласковое для легенды. И шепчет другое:

— Держись, ещё час.

Я закрываю глаза на долю секунды. Час. Я могу выдержать час. Я выдерживала ночи у больничной койки. Я выдерживала дедлайны. Я выдерживала бабушкины ультиматумы. Но почему этот час кажется самым длинным?

— Я держусь, — шепчу я в ответ.

— Я вижу, — говорит он.

И отпускает. Снаружи снова шум. Снова вспышки. Снова чужие голоса. Снова вопросы про «как познакомились», «когда поняли», «где будет медовый месяц». Я отвечаю заученными фразами, которые мы репетировали. Они выходят гладко. Почти правдоподобно. Только кольцо на большом пальце живёт собственной жизнью. Я ловлю себя — и сжимаю пальцы, чтобы остановить. Не выдавай. Бабушка зовёт меня взглядом. Она сидит чуть в стороне, рядом с ней Даша — как охранник, только с человеческими глазами.

Я подхожу, и запах гортензий здесь сильнее, потому что рядом высокая композиция. Слишком сладко. Голова кружится. Бабушка берёт меня за руку. Её пальцы сухие, тёплые. Она сжимает крепко — как будто боится, что я исчезну.

— Вижуля... — шепчет она, и у неё дрожит голос. — Какая ты красивая.

Я улыбаюсь. Настоящей улыбкой. Потому что это — единственный момент, который не игра.

— Ты довольна? — спрашиваю я тихо.

Она кивает, вытирает слёзы платком. Глаза красные, но счастливые.

— Теперь я могу спать спокойно, — говорит бабушка.

И это бьёт мне в солнечное сплетение. Спокойно. Она так давно не спит спокойно. И я так давно не сплю спокойно рядом с ней, потому что всё время слушаю: «а вдруг».

— Бабуль, — я пытаюсь говорить легко, но голос садится. — Ты же понимаешь, что...

Я замолкаю. Что я скажу? «Это фикция»? «Это ложь»? «Это контракт»? Я не могу. Не сейчас. Не после того, как она плакала счастливо. Я смотрю на неё и понимаю страшное: эта ложь стала частью нашей любви. Как пластырь, который закрывает рану, но под ним всё равно гниёт.

— Что, Викуля? — бабушка улыбается и гладит мою руку. — Всё хорошо. Я вижу. Он хороший мужчина.

Я чувствую, как кровь приливает к лицу. Я хочу возразить. Я хочу сказать: «ты не знаешь». Но она правда не знает. И я не могу отнять у неё эту надежду.

— Он... надёжный, — выдавливаю я.

Бабушка кивает, довольная этим словом. Ей нужны надёжные мужчины. Надёжность — её религия.

— Он смотрит на тебя как на... — она запинается, подбирая слово, — как на своё.

Меня будто ударяют током. «Как на своё». Это звучит слишком опасно. Я улыбаюсь, потому что иначе лицо треснет. И делаю то, что делала всю жизнь: перевод внимания на бабушку, на её комфорт, на её мир.

— Ты ела? — спрашиваю я. — Тебе не тяжело тут?

— Нет, — она машет рукой. — Даша меня контролирует, как санитарка.

Даша фыркает:

— Я просто не даю ей лезть к фотографиям и рассказывать, как она нас «устроила».

Бабушка смеётся. И я вдруг понимаю, что в этом смехе есть жизнь. Настоящая. Я сделала это ради неё. Да. И всё равно мне больно. Потому что я только что стала женой человека, рядом с которым я не знаю, где заканчиваются правила и начинается что-то другое.

— Иди, — бабушка слегка толкает меня ладонью. — Тебя ждут.

Меня ждут. Меня ждут камеры. Меня ждёт толпа. Меня ждёт мужчина с кольцом на пальце, который шепчет мне про «ещё час», как будто это поле боя, а не свадьба. Я встаю, наклоняюсь и целую бабушку в щёку. Её кожа пахнет пудрой и чем-то знакомым из детства. Тёплым.

— Люблю тебя, — говорю я тихо.

— И я тебя, — отвечает она. — Не бойся.

Не бойся. Если бы это было так просто. Час тянется. Липкий. Яркий. Громкий. Я улыбаюсь. Я отвечаю. Я поднимаю бокал. Я смотрю в камеры так, будто это моя работа. Артём рядом всё это время. Он не становится «милым». Не изображает влюблённость. Но он защищает границу — мою. Когда кто-то слишком близко подходит, он делает шаг, и человек отступает. Когда кто-то задаёт слишком личный вопрос, он отвечает коротко, и вопрос умирает в воздухе.

Я ловлю себя на мысли, что рядом с ним легче дышать. И тут же ненавижу себя за это. Потому что легче — это зависимость. А я пришла сюда, чтобы не быть зависимой. Чтобы выторговать свободу. Мы выходим на секунду в коридор галереи — там прохладнее, нет запаха гортензий так густо. Я прислоняюсь плечом к стене, чувствую холод сквозь ткань платья. Хорошо. Остужает.

Артём рядом. Он смотрит на меня так, будто оценивает состояние объекта. Но в этом есть и другое — внимание.

— Вы молодец, — говорит он.

Я фыркаю.

— Это звучит как оценка сотрудника.

— Это и есть оценка, — спокойно отвечает он. — Вы держитесь.

Я закрываю глаза на миг.

— Я не хочу держаться всю жизнь.

— Вы не будете, — говорит он.

Слишком уверенно. Слишком как обещание, которое никто не просил.

— Не обещайте, — говорю я. — Мы не про обещания.

Он молчит секунду.

— Мы про протокол, — соглашается он.

И всё равно его голос звучит мягче, чем обычно. Или мне кажется. Я чувствую, как кольцо на безымянном пальце тянет кожу — непривычный вес. И этот вес говорит: «ты теперь другая». Я открываю глаза.

— Всё? — спрашиваю я.

Он смотрит на часы.

— Почти.

Я киваю. Почти — значит, ещё немного. Ещё вспышки. Ещё улыбка. Ещё «как вы счастливы». Ещё Ланской где-то в толпе, невидимый, но осязаемый, как сквозняк. Мы возвращаемся в зал. Камеры снова находят нас моментально. Щёлк. Щёлк. Щёлк. Белый свет вспышек выжигает мне внутреннюю сторону век. Я держусь. Ещё час. Потом всё начинает расползаться: люди прощаются, кто-то уходит, кто-то остаётся. Бабушку уводят в машину — я вижу, как она махает мне рукой, и это счастье на её лице держит меня на ногах лучше любого шампанского.

Даша обнимает меня быстро, крепко, словно закрепляет меня в реальности.

— Ты была идеальна, — шепчет она. — И ты не продалась. Ты выторговала. Я горжусь.

— Я боюсь, — отвечаю я честно.

Даша отстраняется, смотрит прямо.

— Я тоже бы боялась. Но ты не одна.

Она уходит, растворяется в людях, и вдруг становится тихо. Не совсем — город за окнами шумит. Но внутри галереи наступает пустота после праздника: запах гортензий выдыхается, свет становится менее жестоким, шаги звучат громче. Артём подходит ко мне. Теперь вокруг меньше свидетелей. И мне становится не легче, а страшнее. Потому что публичная роль закончилась. А началась жизнь под одной крышей.

Он смотрит на меня сверху вниз. Не давит. Просто фиксирует.

— Поехали, — говорит он.

Я киваю. Слишком быстро. Потому что если я начну думать, я остановлюсь. Мы выходим на улицу. Холодный воздух ударяет в лицо, как пощёчина. Я вдыхаю — и впервые за день ощущаю нормальный запах: мороз, выхлоп, ночь. Машина ждёт. Та же капсула, тот же рокот, тот же дорогой запах, который теперь будет моим фоном. Я сажусь на заднее сиденье. Платье шуршит. Белое на белом.

Артём садится рядом. Не напротив. Слишком близко. Двигатель гудит. Город плывёт мимо. Я смотрю на свои руки. На кольцо на безымянном пальце. На кольцо на большом — моё старое, тревожное. Два круга металла. Два замка.

— Вы можете снять фату, — говорит он.

Я тянусь, осторожно вытаскиваю шпильки. Волосы освобождаются, падают на плечи. Кожа головы ноет от лака и напряжения. Я выдыхаю.

— Я устала, — говорю я.

— Я вижу, — отвечает он.

И пауза снова становится опасной. Потому что в паузе можно сказать лишнее. Можно признаться. Можно попросить. Можно сорваться. Я не делаю ничего из этого. Я просто сижу и смотрю в окно. Когда машина останавливается у его дома, у меня внутри всё сжимается. Пентхаус. Его территория. Его правила. Наш контракт. Я выхожу, и холод тут же прилипает к коже, словно хочет удержать меня снаружи.

Артём идёт рядом. Плечо к плечу. Не прикасается. И это почему-то хуже, чем если бы прикоснулся. Мы поднимаемся на лифте. Тишина. Только мягкий гул и моё дыхание. Я чувствую, как платье давит на ребра. Как кольцо на пальце напоминает о себе. Как сердце бьётся

слишком быстро. Дверь открывается. Тепло. Сухой воздух. Чистота, от которой хочется чихнуть. Запах дорогого дома, где нет жизни.

Я делаю шаг внутрь. Артём закрывает дверь за нами. Звук щёлкает, как замок. Он снимает пиджак, остаётся в рубашке. Смотрит на меня.

— Добро пожаловать в ад, миссис Воронова. Снимите это платье, оно слишком дорогое, чтобы вы в нем уснули.

Глава 8. Трещина в броне

Артём

Свет из холодильника режет полумрак ровной белой полосой, как скальпель. Я держу дверцу открытой слишком долго — не потому что выбираю, а потому что мозг не успевает сформулировать простую команду: «возьми воду, закрой». Боль подступает волной. Сначала — в глазах. Потом — в висках. И сразу хочется вырвать себе голову и оставить где-нибудь на гранитной столешнице, чтобы она перестала пульсировать, как сигнал тревоги. Сзади тихо.

Слишком тихо для пентхауса, в который только что вошла новая жена.

— Вы так и планировали познакомить меня с вашим домом? — голос Виктории звучит из гостиной, сухо и устало. — «Добро пожаловать в ад».

Я не отвечаю. Я не хочу слышать лишние звуки. Даже её. В контракте есть пункты про спальни, расстояние, публичные роли и запреты на слежку. Там нет пункта: «что делать, когда тебе нужно закрыть холодильник, а ты не можешь». Я нахожу упаковку таблеток. Пальцы немеют. Я выдавливаю одну, вторую... пластик упрямо сопротивляется, словно тоже решил проверить меня на выдержку.

Из гостиной шуршит ткань. Платье. Снимает. Хорошо. Её проблемы — там. Мои — здесь. Я беру стакан. Стекло холодит ладонь, и это почти приятно, пока не приходит резкая вспышка боли от отражения света. Я морщусь, закрываю один глаз, пытаюсь налить воду из фильтра. И в этот момент рука дрогнула. Таблетки высыпаются на пол. Тихо, но этого достаточно. Пластик ударяется о плитку. Белые кружки разлетаются, как мелкие зубы. Я застываю.

Боль — выше. Внутри черепа словно кто-то поворачивает винт. Я опускаюсь на корточки, и холод пола бьёт в колени сквозь ткань брюк. От резкого наклона темнеет. Не романтично. Не героически. Просто — темнеет. «Не сейчас». Я тянусь к таблетке, и пальцы скользят по гладкой поверхности. Она уходит дальше, под тень кухонного острова. В голове щёлкает злость: на себя, на свет, на эту ночь, на эту свадьбу, на чужие вопросы, на гортензии, на шампанское.

На неё — тоже, хотя она ни при чём.

— Чёрт, — выдыхаю я. Слишком громко.

Сзади мягкий шаг. Я не слышал, как она подошла. Значит, я действительно плохо.

— Артём? — она произносит моё имя без «Сергеевич», и от этого в груди неприятно зудит, будто меня лишили формы.

— Иди спать, — говорю я, не поднимая головы. Голос срывается на короткое, раздражённое. — Закрой дверь.

В контракте нет пункта «закрой дверь», но в моём мире он всегда есть. В моём мире слабость — это то, что держат за закрытой дверью.

— Вы на полу, — отвечает она ровно. Не испуганно. Не жалостливо. Просто факт.

— Я контролирую ситуацию, — говорю я, и это звучит особенно глупо, когда я ловлю таблетку пальцами и снова её роняю.

Тишина. Пауза, в которую я слышу собственный пульс в висках. Она не уходит. Конечно, не уходит.

— Вы всегда так врётё? — спрашивает она, и в голосе нет насмешки. Есть раздражение. Почти моё.

— Это не ложь, — я сжимаю зубы. — Это... формулировка.

— Формулировка «я не справляюсь», — спокойно говорит она.

Я резко поднимаю голову — и тут же жалею. Свет из холодильника режет прямо в глаза, мигрень вспыхивает так, что хочется застонать. Она стоит у входа в кухню. В моей рубашке. Клише. Я видел это тысячу раз — в дешёвых сценариях, где женщина в мужской рубашке

должна быть символом интимности. Здесь это не интимность. Это практичность. Её платье — дорогое, тяжёлое, неудобное. Рубашка — свободная и настоящая.

И это почему-то выбивает сильнее, чем если бы она вышла обнажённой. Потому что обнажённость — это игра. А вот так — это её территория в моём пространстве, без просьбы, без поклона, без попытки понравиться. Её волосы распущены. На лице нет макияжа. Кожа чуть блестит от умывания. И пахнет она... цитрусом и бумагой. Как свежий блокнот и выжатый лимон в воду.

Я чувствую этот запах даже сквозь боль. Она смотрит на таблетки на полу, потом на меня. И делает то, что я не ожидаю. Не спрашивает. Не «вам плохо?». Не «может вызвать врача?». Она просто опускается рядом — быстро, уверенно — и начинает собирать таблетки ладонью, будто собирает рассыпанные бусины. Холодный пол под её коленями заставляет её чуть втянуть плечи, но она не комментирует.

— Не трогай, — выдыхаю я.

— Поздно, — отвечает она.

Я хватаю её запястье. Не сильно. Но достаточно, чтобы остановить. Её кожа тёплая. Моя ладонь холодная и влажная. Я ненавижу это несоответствие.

— Я сказал: не трогай, — повторяю я. Голос глухой. Мне кажется, что я слышу себя издалека.

Она поднимает на меня взгляд. В её глазах нет страха. Есть граница.

— А я услышала, — говорит она. — И решила, что это не приказ, а привычка.

Я сжимаю челюсть. Боль отдаёт в зубы.

— Вы не обязаны, — добавляет она тихо. — Я не из жалости.

Слово «жалость» задевает большее мигрени. Я отпускаю её запястье. Она заканчивает собирать таблетки, складывает на салфетку, которую достаёт из ящика. Чётко. Без суеты. Потом закрывает холодильник. Полумрак снова заполняет кухню. Свет больше не режет. Я выдыхаю — и понимаю, что держал дыхание. Она ставит стакан на гранитную столешницу. Звон стеклянного стакана о гранит звучит громко. И почему-то этот звук становится якорем. Реальностью. Точкой.

— Пейте, — говорит она.

— Не командуй, — автоматически бросаю я.

— Не командую, — спокойно отвечает она. — Предлагаю. Если вы сейчас начнёте спорить, я уйду. Хотите?

Нет. Я не хочу. Но признать это — значит признать нужду. Я беру стакан. Стекло холодное, вода пахнет ничем — идеальной чистотой. Я делаю глоток. Боль не уходит, но перестаёт нарастать. Она протягивает салфетку с таблетками.

— Какие вы обычно пьёте? — спрашивает она.

Вопрос деловой. Не личный. И от этого он легче.

— Те, что в упаковке, — говорю я и киваю на стол. — Две.

Она берёт упаковку, быстро смотрит, потом кладёт две таблетки на мою ладонь. Пальцы у неё тонкие, в ногтях — едва заметные следы чего-то тёмного. Краска? Графит? Жизнь, которая не отмывается до конца. Я проглатываю таблетки, запивая водой. Глоток, второй. Я ставлю стакан на гранит — звяк снова звучит слишком резко, и я морщусь. Виктория замечает. Не комментирует. Она открывает морозилку — я слышу тихий вздох уплотнителя, запах холода. Достаёт пакет.

— Что это? — спрашиваю я, уже раздражаясь заранее.

— Компресс, — отвечает она. — Лаванда.

— У меня нет лаванды, — говорю я.

— У вас нет жизни, — спокойно говорит она. — Но компресс есть.

Я на секунду не понимаю, откуда она это взяла. Потом вспоминаю: в шкафу на кухне лежат всякие «сервисы» от дизайнеров интерьера, которые мне навязали. В том числе — эти идиотские ароматические штуки. Она оборачивает компресс тонким полотенцем и подходит ближе.

— Нет, — говорю я сразу.

— Да, — отвечает она и протягивает мне.

Я беру — лишь бы она не касалась. Полотенце холодное, компресс пахнет лавандой слишком живо, слишком по-домашнему. Запах пробивается через боль и одновременно раздражает и успокаивает.

— Ложитесь, — говорит она.

— Я не лягу при тебе.

— Тогда вы упадёте, — ровно отвечает она. — И это будет глупо.

Она смотрит на меня так, будто объясняет очевидное ребёнку. Я ненавижу, когда со мной так. Но сейчас у меня нет сил защищаться. Я встаю. Слишком резко. Мир качается. Я хватаюсь за край острова, пальцы впиваются в камень. Виктория не делает вид, что не видит. Она просто подходит и кладёт ладонь мне на затылок. Тепло. Чёткое, спокойное тепло. Её пальцы в волосах — не ласка. Наведение. Как если бы она направляла слепого.

Я резко вдыхаю. Запах цитруса и бумаги ударяет в нос. Не интимно. Но близко.

— Не надо, — выдавливаю я.

— Надо, — отвечает она тем же тоном, каким я обычно говорю людям на совещаниях. — Идём.

Я позволяю. И это самое унижительное. И самое облегчительное. Мы идём в гостиную. Полумрак здесь мягче. Огни Москвы за окнами размыты и далеки; ночью город кажется непривычно тихим. Диван серый, идеальный, без следов жизни. Она ведёт меня, ладонь на затылке, вторая — на моём локте. И я вдруг понимаю: она сильнее, чем выглядит. Не физически. Внутри.

— Сядьте, — говорит она.

Я падаю на диван. Не с достоинством. Просто падаю. Компресс выскальзывает из руки, и она ловит его на лету — быстрым движением. Меня тошнит от ярости. От собственной слабости.

— Я не просил, — говорю я.

— Я не продаю услуги, — отвечает она, и в голосе слышится знакомое. Та же гордость, которую я увидел в кабинете. — Я делаю то, что считаю нормальным.

— Нормальным? — я почти смеюсь, но это выходит хрипло. — Для вас нормально — заботиться о человеке, который вам по контракту чужой?

Она на миг замирает. Смотрит на меня. Боль в голове делает её лицо слишком резким, слишком контрастным.

— По контракту — да, чужой, — говорит она. — По факту — человек на полу кухни. Это всё, что мне нужно знать.

Я закрываю глаза. Лаванда пробивается сквозь воздух. Она кладёт компресс мне на лоб, чуть выше бровей. Холод разливается по коже, и я чувствую, как мышцы лица отпускают сами собой. Не полностью. Но чуть-чуть.

— Держите, — говорит она и накрывает компресс моей ладонью, чтобы он не съезжал.

Её пальцы касаются моих. Ненадолго. На секунду. Эта секунда — слишком много. Я ощущаю, как внизу живота натягивается тонкая струна, как будто тело пытается перепутать боль и напряжение. Это мерзко. И честно. Я стискиваю пальцы сильнее, прижимая компресс.

— Не надо смотреть на меня, — говорю я.

— Я и не смотрю, — отвечает она, хотя я знаю: смотрит.

Я слышу, как она ходит по гостиной. Тихие шаги. Шуршание ткани рубашки. Звук воды на кухне — она, кажется, снова наполняет стакан. В моём доме кто-то делает действия без моего контроля. И дом не рушится. Я лежу на диване, компресс холодит лоб, лаванда пахнет почти агрессивно, и боль наконец начинает уступать. Не уходит — отступает. Как враг, которого не победили, но загнали в коридор.

Я открываю глаза. Виктория сидит на краю кресла напротив. Не рядом. Дистанция соблюдена. Это... уважение к моим границам. Или к своим. Она держит в руках мой стакан, как будто готова подать, если я попрошу. Но не подаёт, пока не попрошу. Никакой жалости. Только готовность. Меня вдруг накрывает странной неловкостью. С ней я не могу использовать привычную власть — приказ, контроль, холод. Это всё работает хуже, чем обычно. Потому что она не играет в подчинение.

— Почему вы не ушли? — спрашиваю я тихо.

Она пожимает плечом.

— Потому что вы бы завтра делали вид, что ничего не было, — говорит она. — А я не люблю недосказанности.

— Вы меня не знаете.

— И слава богу, — отвечает она. — Я бы не хотела знать вас таким, каким вас знают ваши инвесторы.

Я молчу. В висках всё ещё пульсирует, но теперь я могу слушать.

— Вам лучше? — спрашивает она.

Вопрос простой. Без подтекста. И от этого он почти опасный: на него хочется ответить честно.

— Чуть, — говорю я. — Спасибо.

Слово «спасибо» застревает в горле, как кость. Я не привык благодарить за то, что мне и так должны. А она мне не должна. И я ей — не должен. Это выбивает. Виктория кивает, будто зафиксировала факт и закрыла тему. Не улыбается победно. Не требует признания.

— Я уйду, как только вы сможете нормально встать, — говорит она. — И не упасть.

— Вы думаете, я упаду, — я хмыкаю. Это звучит почти как попытка вернуть иронию.

— Я знаю, — спокойно отвечает она.

Мне хочется спорить. Но силы уходят. Глаза сами закрываются. Я засыпаю не потому, что доверяю. Потому что боль отступает, таблетки начинают работать, и организм берёт своё. Последнее, что я чувствую перед тем как провалиться, — запах цитруса и бумаги. Он остаётся в воздухе, как след, который не вытрешь тряпкой. И ладонь на затылке. Тёплая. Спокойная. Я просыпаюсь от тишины.

Она другая утром. Не ночная, тяжёлая, а светлая, пустая. Компресс лежит на груди, уже тёплый, пахнет лавандой слабее. Во рту сухо. В голове — тупая усталость вместо раскалённого железа. Я моргаю. Свет не режет. Значит, пережил. Я приподнимаюсь на локтях. В гостиной никого. На кухне тоже тишина. Город за окнами серый, ленивый, субботний. В пентхаусе всё по-прежнему идеально, только на столике возле дивана стоит стакан воды и упаковка таблеток, аккуратно сложенная, словно это часть интерьера.

И лист бумаги. Записка. Я беру её пальцами. Бумага чуть шершавая. Почерк — уверенный, быстрый. Без завитушек. «В контракте не было пункта о первой помощи. Считайте это подарком. В.» Я читаю дважды. Третий раз. И только потом понимаю, что держу лист слишком крепко — так, что пальцы белеют. Она ушла, не потребовав ничего. Не попыталась «поймать» момент. Не превратила слабость в рычаг.

И это — самое опасное. Потому что с человеком, который берёт, всё ясно. Он берёт — ты платишь, закрываешь сделку, ставишь границу. А с человеком, который даёт без счёта... границы начинают размываться. Я смотрю на стакан воды. На гранитную столешницу, на которой вчера звенело стекло. На идеальный порядок, который почему-то теперь кажется не безопас-

ным, а пустым. В груди поднимается неловкость. И что-то ещё — неприятное, колкое, словно страх.

Не страх Ланского. Не страх совета. Страх того, что мне станет нужна её рука на затылке. Я аккуратно складываю записку и кладу обратно. Как будто, если положить её на место, можно вернуть контроль. Но внутри уже треснуло. Совсем чуть-чуть. Достаточно, чтобы туда начал проходить воздух.

Глава 9. Мягкая интервенция

Виктория

— Красивый морг, — говорит Даша, упирается локтями в перила террасы и смотрит вниз так, будто там не река, а мой диагноз.

Ветер с реки хлещет по голым щиколоткам, забирается под тонкую домашнюю футболку и заставляет меня сжать плечи. Здесь всё построено на эффекте: стекло, металл, бесконечный вид, который должен внушать, что ты над городом. А по факту — ты просто выше, и от этого холоднее.

— Не драматизируй, — отвечаю я, хотя сама вчера ночью подумала почти то же самое.

Терраса вылизана до стерильности. Ни одного следа жизни. Ни одного «я тут сидела и ела яблоко». Даже воздух кажется отфильтрованным. Даша поворачивает голову и оценивает меня, как врач без диплома.

— Ты стала мягче, Вик, — говорит она неожиданно.

Я моргаю. И впервые за утро ловлю себя на том, что не кручу кольцо на большом пальце. Пальцы лежат спокойно на чашке, которую я держу обеими руками, будто пытаюсь согреть не кофе, а себя.

— Это называется «я сплю», — отрезаю я.

— Это называется «ты живёшь не одна», — не сдаётся она. — И у тебя от этого лицо... другое.

Мне хочется сказать: «заткнись». Но губы не слушаются. Потому что она права в той части, в которой мне страшно быть правой.

— Я живу по контракту, — напоминаю я.

— Ага. В контракте есть пункт про взгляд? — Даша прищуривается. — Он на тебя смотрит так, будто ты не «по документам».

Я делаю вдох, и ветер сразу забивает его льдом. Гортензий здесь нет — слава богу, только холод и речная сырость. Это отрезвляет.

— Даша.

— Ладно, — она поднимает ладони. — Я пришла не за романтикой. Я пришла тебя предупредить.

Слова врезаются в меня быстрее ветра. Я выпрямляюсь, и чашка едва не скользит из пальцев.

— О чём?

— Ланской копает под твоё прошлое, — говорит она тихо, без театра. — Не «про Артёма», Вик. Про тебя.

У меня в животе становится пусто. Как на лифте, который рванул вниз без предупреждения.

— Откуда ты...

— У меня есть глаза и пара знакомых, — перебивает она. — И я слишком хорошо знаю, как работают люди, которым нечего терять. Он будет искать грязь. Или придумывать.

Я слышу собственный пульс в ушах. И сразу вспоминаю взгляд на свадьбе — липкий, уверенный, как рука на локте, от которой не отмоешься.

— У меня нет «грязи», — произношу я.

Даша смотрит на меня долгую секунду. И я понимаю, что она не спорит не потому, что верит, а потому, что знает: «грязью» могут назначить что угодно.

— Не важно, — говорит она. — Важно, что он будет копать. И если найдёт пустоту — он её заполнит.

Я стискиваю чашку так, что керамика жалит ладони.

— Артём знает?

— Я бы сказала ему, — Даша хмыкает. — Но у меня ощущение, что он знает всегда всё. Вопрос — когда он решит сказать тебе.

«Решит». В этом слове вся его власть. Я отвожу взгляд на воду. Река тёмная, тяжелая, как металл. Ветер приносит запах сырости, и меня внезапно мутит — от мысли, что мой брак стал не только ложью для бабушки и инвесторов, но и щитом. И этот щит теперь проверяют на прочность. Даша трогает меня за локоть — коротко, по-дружески.

— Ты не должна становиться дамой в беде, — говорит она. — Я знаю, ты умеешь отбиваться. Просто... не делай вид, что тебе всё равно.

Я усмехаюсь, потому что иначе выдам.

— Ты пришла, чтобы сказать мне «не делай вид»?

— Я пришла, чтобы сказать: сделай это место своим, — Даша оглядывает террасу и стеклянные стены. — Потому что если ты тут останешься «в гостях», тебя сожрёт не Ланской. Тебя сожрёт тишина.

Я слышу, как в квартире за спиной тихо щёлкает дверь лифта. Или мне кажется. Этот дом умеет играть со звуками.

— Я не собираюсь ничего захватывать, — говорю я, и это звучит почти как оправдание. Даша улыбается уголком губ.

— Захват — это когда ты забираешь чужое. А ты просто хочешь... жить. Это не одно и то же, — она подмигивает.

Я киваю. И меня почему-то коробит от того, что своё право просто жить здесь приходится объяснять даже себе.

— Я сделаю, — говорю я. — Но аккуратно.

— Ты всегда аккуратно, — Даша вздыхает. — И иногда это бесит. Давай я тебе помогу?

— Нет, — говорю я сразу. — Мне надо самой.

Потому что если я не сделаю это сама, я останусь здесь чужой навсегда. Даша кивает, и в её глазах мелькает то самое — нежность, которая не лезет в душу.

— Тогда хоть обещай, что если станет страшно — ты не будешь молчать.

Я открываю рот... и закрываю. Слова застревают. Ветер ударяет сильнее, и я просто киваю.

— И ещё, — Даша делает шаг к двери, но оборачивается. — Ты правда стала мягче. Не отдавай это первому встречному миллиардеру. Это дорого.

— Это не подарок, — отвечаю я.

— Вот именно, — она улыбается. — Поэтому береги.

Даша уходит, и тишина на террасе становится густой. Ветер шумит в стекле, как в пустом аквариуме. Я стою ещё минуту, пока пальцы не начинают коченеть. Потом захожу внутрь. И понимаю: я не могу больше жить в музее, где экспонат — я. Я привезла вещи из студии не потому, что хочу «расставить флажки». Я привезла их потому, что иначе начну растворяться.

Вторая неделя брака — это странное время: все уже перестали поздравлять, пресса переключилась на следующую пару, бабушка успокоилась и стала звонить реже, а ты остаёшься в квартире, где всё слишком идеально и ни одна поверхность не признаёт твоё существование. Я открываю коробку с красками, и в воздух сразу поднимается запах свежей масляной краски — густой, жирный, живой. Он цепляется за горло, и у меня внутри что-то расправляется, как плечи после долгого сидения. Вот оно.

Я ставлю коробку на пол возле окна в гостиной, оглядываюсь. Серый диван. Серые стены. Серый ковёр. Даже свет здесь какой-то серый, как будто его регулировали под «успокаивать инвесторов». Мне хочется рассмеяться. «Артём не кричит. Артём контролирует». Я повторяю это как мантру, потому что сейчас собираюсь сделать то, что в его мире называется «хаос». Я

не трогаю его вещи. Не двигаю его книги, не переставляю его идеальные журналы, не влезаю в его системы. Я просто добавляю своё — рядом. На расстоянии уважения.

Это не захват. Это... совместимость. Я достаю мольберт. Лёгкий, складной. Ставлю его у окна так, чтобы не перекрывать проход. Затем — несколько холстов. Один большой, два средних. Прислоняю к стене, где до этого висело абстрактное что-то, похожее на дорогую ошибку. Я смотрю на пустую стену рядом — огромную, голую. Она как экран, на котором ничего не показывают. Я чувствую протест, почти физический, будто кожа под рубашкой зудит.

«Я заставляю это место дышать». Не как дизайнеру, которому поручили «сделать уют». Мне впервые разрешено оставлять здесь свои следы. Я беру оранжевый плед. Я купила его по дороге из студии, потому что он был настолько неприлично ярким, что у меня свело зубы от удовольствия. И теперь этот плед выглядит как вызов. Оранжевый на сером диване — как пульс на кардиомониторе.

Я раскладываю его не идеально. Специально. Пусть будет складка. Пусть будет ощущение, что кто-то мог тут сидеть и укутаться. Я уже собираюсь отойти, как замечаю на пальце пятно оранжевой краски. Я, видимо, коснулась упаковки или ручки кисти, и теперь этот маленький след горит на коже. Я улыбаюсь, и сразу становится легче. Пятно — доказательство, что я настоящая. Я беру тряпку, пытаюсь стереть — и понимаю, что оно не стирается полностью. Остаётся полупрозрачное. И я позволяю ему остаться.

Потому что это моё «я здесь». В прихожей тихо щёлкает замок. Я замираю. Шаги. Сдержанные, ровные, как у человека, который не тратит энергию на лишние движения. Артём. У меня в груди поднимается азарт, смешанный с тревогой. Как перед презентацией, где ты знаешь: сейчас тебя будут оценивать. И ты либо прогнёшься, либо выступишь. Я не хочу войны. Но и отступать не собираюсь.

Он входит в гостиную. В пальто. С портфелем. Лицо усталое, но собранное. Глаза — сразу на пространство. Сканируют. Считывают изменения, как сигнал тревоги. Он останавливается. Взгляд цепляется за холсты. За мольберт. За коробки. За оранжевый плед на сером диване. Я жду. Внутри всё натянуто, как струна. Пальцы сами ищут кольцо на большом пальце. Я почти начинаю крутить — и останавливаю себя. Не хочу давать ему это удовольствие: видеть мою тревогу.

— Это временно, — говорю я первой, и голос звучит слишком спокойно, чтобы быть правдой. — Я просто... работаю. Мне нужна поверхность. Свет. Угол.

Я специально выбираю слова «удобство». Не «моё». Не «я так хочу». Удобство — нейтрально. Без претензий. Он молчит. Снимает пальто, вешает его так аккуратно, словно у него в голове есть для этого отдельный алгоритм. Ставит портфель на столик. И делает шаг к дивану. Я жду взрыва. Я жду холодного: «уберите». Я жду того, что он сейчас включит свою броню и будет защищать свой порядок.

А он просто... садится на этот оранжевый плед. Молча. Проверяет фактуру, пробует диван на жизнь. Я глотаю воздух. Не понимаю, что с этим делать. Злиться? Благодарить? Смеяться?

— Вы... не против? — вырывается у меня.

Он поднимает взгляд.

— Если вы не проливаете краску на гранит, — произносит он ровно, — мне всё равно.

Это звучит как уступка, упакованная в правило. И мне вдруг становится тепло. Не от фразы. От того, что он не выгнал меня из своего пространства.

— Я аккуратно, — говорю я.

— Я заметил, — отвечает он.

И в этих двух словах — что-то странное. Он помнит утро, запах лаванды; его мигрень для него, похоже, не стала «инцидентом», который можно вычеркнуть. Я опускаю глаза на свои пальцы. Пятно оранжевой краски всё ещё там.

— Вам лучше? — спрашиваю я, не планируя.

Он смотрит на меня секунду дольше, чем нужно.

— Да, — говорит он. — Спасибо.

Опять это слово. Опять неловкость, которая не помещается в контракт. Я киваю, будто это деловой вопрос, и делаю вид, что мне надо срочно заняться кистями. Потому что если я начну думать о том, как он сидит на моём пледе в своём доме, мне станет слишком... живо. Я обустроиваю угол для рисования так, будто это рабочее место в офисе: функционально, безопасно, без лишних эмоций.

Кисти — в банке. Тряпки — под рукой. Растворитель — закрыт. Холсты — у стены, чтобы не мешали. Скетчбук — на журнальном столике рядом, потому что он всегда со мной, как второе сердце. Артём уходит в кухню. Я слышу звук воды, тихий звон чашки. Он двигается в квартире как хозяин, но не как надзиратель. Это новое. И это сбивает. Я делаю несколько штрихов на холсте — просто чтобы проверить руку. Запах масла снова поднимается в воздух, смешивается с его домом и делает этот дом... менее чужим.

Сзади шаги. Я не оборачиваюсь сразу. Не хочу, чтобы он видел, как я напрягаюсь от его присутствия.

— Вы собираетесь рисовать здесь каждый вечер? — спрашивает он.

— Я собираюсь работать, — отвечаю я. — У меня проекты. И... мне проще, когда всё под рукой.

«И мне проще, когда у меня есть что-то своё». Я не говорю это вслух.

— Хорошо, — говорит он.

Я поворачиваюсь. Он стоит в нескольких шагах, с чашкой в руке. В домашней одежде он выглядит... менее бронзовым. Не мягче — просто ближе к реальности.

— Это не для того, чтобы вас... раздражать, — добавляю я, потому что вдруг хочется обозначить границу.

Он приподнимает бровь.

— Виктория, — произносит он, и моё имя в его голосе звучит как формула. — Меня раздражают непредсказуемые риски. Оранжевый плед — не риск.

Я усмехаюсь.

— У вас странная шкала тревожности.

— У вас тоже, — отвечает он.

И я понимаю, что он имеет в виду моё кольцо. Он видел. Он заметил. И, возможно, сделал выводы. Я делаю шаг к столу, беру скетчбук и поджимаю его к груди, словно это щит. Глупо. Детски. Но так честнее.

— Я не буду трогать ваши вещи, — говорю я.

— Вы уже тронули, — спокойно отвечает он.

У меня холодеют пальцы.

— Что?

Он кивает на плед.

— Он теперь в моём доме, — говорит он, как будто констатирует факт. — Это изменение.

Я злюсь на себя за то, что мне хочется улыбнуться.

— И что вы с этим сделаете? — спрашиваю я, чуть с вызовом.

Он смотрит на плед, потом на меня.

— Посижу, — говорит он.

И идёт мимо меня к дивану, снова садится — на оранжевое. На мой маленький бунт. Как будто принимает его на вкус. Я стою с кистью в руке, и пятно краски на пальце вдруг начинает жечь сильнее. Потому что это уже не просто про интерьер. Это про то, что он позволил мне быть здесь собой. Я отворачиваюсь к холсту, делаю пару линий, чтобы занять руки. Слышно, как он перелистывает что-то на журнальном столике. Бумаги? Журнал?

И вдруг — другой звук. Сухой, шелестящий. Бумага. Страницы моего скетчбука. Я поворачиваюсь резко. Он держит его. Мой скетчбук. У меня внутри всё падает. Не от страха, от злости — от той самой уязвимости, которую я обычно прячу за профессионализмом.

— Артём, — произношу я тихо, но в голосе уже сталь. — Это личное.

Он не делает шаг назад. Не оправдывается. Просто продолжает перелистывать медленно, будто специально даёт мне понять: он не боится моего «личного». Звук перелистываемой бумаги режет по нервам. Каждая страница — как вскрытая кожа.

— Вы оставили его на столе, — говорит он. — В гостиной.

— Это не приглашение, — отвечаю я.

Он поднимает взгляд, и в нём нет насмешки. Есть... интерес. Настоящий. Опасный.

— Вы рисуете хорошо, — произносит он.

— Я рисую всю жизнь, — отрезаю я.

Он снова смотрит в скетчбук. И задерживается. Я знаю, на чём. Портрет. Тот самый, который я сделала утром после той ночи — когда он спал на диване, и у него впервые за всё время лицо было не каменным, а человеческим. Я не рисовала его «красивым». Я рисовала его усталым. Сломанным. Настоящим. Я не собиралась показывать. Но, видимо, я уже живу не в режиме «собиралась».

Он молчит так долго, что у меня сводит плечи. Потом он переворачивает страницу обратно — будто проверяет деталь. И говорит тихо, почти ровно:

— У меня никогда не было таких длинных ресниц, Виктория.

Я выдыхаю. Резко. И вдруг понимаю, что могу ответить не оправданием, не извинением, не нападением. Правдой.

— Я просто рисую то, что вижу, когда вы молчите, Артём Сергеевич.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.